

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



ДЕДОВ КРЕСТ

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Мой дед по материнской линии, Тимофей Степанович Кондрашов, родился в многодетной крестьянской семье на Смоленщине, в ныне уже не существующем селе Высоцком Вяземского района, на границе с Сафоновским районом. Это рядом с Изъяловым, Никулиным, Старым Селом, Богородицким, Артёмовым, Чёрным, в среднем течении речки Вязьмы, правого притока Днепра. Крестили его в день памяти Апостола Тимофея — 22 января по старому стилю. У деда были четверо братьев: Артемий, Павел, Степан и Иван — и сестра Евгения. Отец — Степан Семенович, мать — Анастасия Васильевна. Крепкая крестьянская семья, которую затем ветер революции рассыпал по стране.

В 1915 году моего деда призвали на войну; он воевал на германском фронте, в рукопашном бою уложил одного немца, вёл себя храбро, потерял мизинец и безымянный палец на правой руке, заслоняясь от вражеского штыка винтовкой. В приказе о награждении его солдатским знаком отличия ордена Святого Георгия было сказано: “За доблесть в бою и умелое спасение жизни солдата Российской империи”. Имелась в виду его собственная жизнь.

Моя бабушка, Клавдия Фёдоровна, в девичестве Карпушова, родилась в тех же местах, что и дед, и тоже в многодетной крестьянской семье. У неё было шесть сестёр и один брат. За деда моя бабка вышла в возрасте 16 лет вскоре после Рождества Христова 1919 года. А Тимофею Степановичу тогда исполнилось 24. В первые годы дети у них рождались мёртвые. Бабушка сва-

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг прозы: “Похоронный марш”, “Страшный пассажир”, “Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Есенин” и многих других. Живет в Москве.

ливала вину на свекровь, заставлявшую её слишком много работать. Ещё она как-то призналась мне, что, будучи девушкой, мечтала о старшем брате Кондрашовых — Артемии, а вышла за Тимофея после того, как Артемий женился на её дальней родственнице Полине. Попав в дом мужа, она первые годы много плакала, вспоминая родной дом, своих добрых родителей, Фёдора и Ольгу.

В 1922 году мои дед и бабка стали жить своим домом, и через год у них благополучно родился первенец — Фёдор Тимофеевич. Затем, в 1928-м, появился на свет мой будущий крёстный — дядя Саша, Александр Тимофеевич. А ещё через три года родилась моя мама — Нина Тимофеевна.

В 1930-е годы пришла коллективизация, а мой дед был её яростным противником, потому что в его работающей семье всё и так ладилось, жили с достатком, даже на окнах были разноцветные стекла — синие и красные уголки. Имели трёх лошадей, трёх коров, множество другой скотины и птицы. Богач, противник колхозов да ещё и герой империалистической войны, кавалер ордена Святого Георгия... Над моим дедом нависли тучи. Местная большевизия вот-вот должна была его раскулачить и отправить с семьёй в Сибирь. По совету своего старшего брата Артемия, служившего в ЧК, он даже своей Георгиевский крест закопал в укромном месте на огороде, когда пустили слух, что всех, у кого таковые найдутся, будут на месте расстреливать. Потом, спустя годы, он приедет, будет искать, где подарил земле свою награду, да так и не найдёт, а бабушка, получившая в годы Великой Отечественной две медали, будет дразнить его:

— Мои-то — вот они, а твой-то крест где, Тимох? А, Тимох!

— У Артемия спроси, — угрюмо отвечал дед.

В 1937 году под угрозой раскулачивания Тимофеем Степановичем с женой и тремя детьми перебрался в Москву. Своего угла у них не было больше года. Брат деда служил в московской милиции и договорился, чтобы их пускали ночевать в одну многокоммунальную квартиру, где было две ванных комнаты. В одной из этих ванных они и ночевали, а днём оставались без жилья, то есть, по нынешним понятиям, бомжевали. Бабушка устроилась уборщицей в отделение милиции, а дед — в Метрострой, от которого получил, наконец, собственное жильё — комнату в бараке.

В 1941 году пропал без вести в Вяземском котле их старший сын Федя, дед голодал в резервных войсках, а бабка рыла окопы на подступах к Москве. После войны семья ещё долго ютилась в метростроевском бараке, в котором и я появился на свет ровно за два года до полёта Гагарина в космос.

Деда я обожал больше всего на свете, потому что он возился со мной постоянно. Научившись говорить, я звал его “дедушка Темноша”, на что бабушка смеялась:

— То-то и есть, что Темноша! У церкву ходить перестал, будто нехристь какая.

— Как раз те-то и тёмные, кто в церковь ходит, — возражал дед, считая, что, разуверившись в Боге, он обрёл некое прогрессивное знание.

А когда-то, живя в деревне своим хозяйством, он сохранял традиционное православие. Однажды он мне рассказывал:

— Бывало, каждое воскресенье мы ходили в церковь, а она в пяти верстах находилась. Так я, бывало, сапоги свяжу веревочкой, перекину через плечо: один сапог на спине, другой на груди — и так до самой церкви. Перед церковью сапоги надену и в храм Божий в сапогах иду. Обратное снова босиком. Оттого у меня сапоги никогда не снашивались, не то что нынче у городских.

Дед почему-то называл меня не по имени, а мальчишкой. Всегда заступался за меня перед мамой и бабушкой, когда я проказничал и должен был получить заслуженных поцелуев ремня:

— Как хотите, но мальчишку я в обиду не дам!

Во втором классе я нахватал двоек после многодневных увеселений на ледяной горке, и мама решила всё-таки всыпать мне по первое число. Но дед, уже облачённый в голубой кальсоновый костюм, бросился к ней и принял на себя несколько ударов ремня, как некогда бросался на герман-

ские штывки. Мама пыталась ударить меня, заходя то слева, то справа, но дед всякий раз подставлялся, защищая своего *мальчишку*.

При этом, что греха таить, недостатков у моего деда имелось в достатке. Он и к рюмочке прикладывался, и от бабушки не прочь был засмотреться на сторону, и матерился порой. Из всех народов он любил только русский, раздражаясь на все прочие. Хотя национализм у него был смешной, и я всегда хохотал, когда он украинцев называл “чулы-булы”, а кавказцев — “чхари-ари”:

— Работать неважко стало, — жаловался он, к примеру, — понапринимали всяких чулы-булы да чхари-ари, а они делать ни хрена не хотят!

А я:

— Как-как? Кого напринимали?

Это чтобы он ещё раз повторил, а я ещё раз упал на диван со смеху.

Было время, когда, по его собственному признанию, он “на бутылочке женился”. Но потом перешёл исключительно на пиво. В одну пору прошла кампания по переводу русского народа с кривых водочных рельсов на пивной автобан, и деду в его депо после смены выдавали три литра бесплатного пива. Он тогда так и ходил на работу с большим алюминиевым чайником. Вечерочком я его всегда поджидал, потому что он являлся с этим вкусным холодным напитком, плещущимся в чайнике, и наливал мне кружечку. Бабушка и мама, конечно же, возмутились:

— Тимох, ты что, ошалел?

— Отец, сопьётся мальчишка твой!

А он возражал:

— Неправда. Курс на пиво взят и одобрен партией и правительством.

Курс самого деда чаще всего шёл вразрез с курсом домашней партии и правительства в лице мамы и бабушки. Особенно жаркие споры шли у него по поводу хождения бабушки в церковь:

— Вместо того, чтобы мне лишние носки купить, ты понам деньги носишь. Все попы в моих носках ходят! Пойду да и заставлю их снять.

— Не пори ерунды, — вздыхала бабушка. — А то у тебя носков не хватает. А у церкву бы надо тебе сходить, Тимох. Ведь с до самой до войны не ходил, тридцать лет в нехристях!

— Умру, а не пойду!

— Вот умрёшь, так как раз и пойдёшь у церкву.

— Это как это?

— А вот так. Не своими ножками, конечно же, а понесут тебя, ирода, у гробе.

— Вот ты что затеяла! Учти, Клавдя, если только, когда я помру, ты меня отпевать понесёшь, я из гроба в церкви встану и за волосы тебя надеру. Так и знай. Стыдно тебе будет.

— Так, прям, и встанешь!

— Встану.

— Мёртвый? Иде ж это видано?

— Назло тебе оживу на пять минут. Мне хватит, чтоб из тебя космы выдрать.

— А всё потому, — сердилась бабушка, — что ты свой крест законал.

— Какой?

— Георгиевский, какой же ещё! Вот без креста и остался.

— Клавдя, я счас смерти дожидаться не стану, выдеру тебя, как сидорову козу!

Справедливости ради следует признать, что при всём многообразии угроз, которые дед иной раз посылал в сторону своей жены, он ни разу мою бабушку пальцем не тронул. И она это уважала:

— Тут нечего сказать: никогда даже не замахнулся на меня. А и то — пусть бы только попробовал!

Та ещё была парочка — мои дед и бабка! По-своему любили друг друга, но увлекались особым видом спорта — дразнением. К примеру, дед терпеть не мог, когда она лезла ему помогать в домашних мужских делах. Вот он пилит дощечку, а бабушка сзади подкрадётся и рукой схватится, чтобы эту дощечку придержать.

— Ну, едрит же твою налево! — взовётся дед. — Клавдя! Возьму да и отпилю тебе руку-то!

— И это вместо спасибо! Да если б не я, ты бы криво отпилил.

— Да уж, без тебя у меня всё бы криво было!

— А что, не так разве?

Когда отмечалась их золотая свадьба, собрались гости, дед и бабушка сели во главе стола, как два голубка, — всё чин по чину. Кто-то крикнул:

— Горько!

Дед и бабушка встали, собрались было поцеловаться, а мой Тимофей Степанович вдруг схватил со стола бутылку водки и её чмокнул во все уста. И сказал:

— Вот моя любимая, да после инфаркта разлучили меня с ней врачи-вредители!

Бабушка, конечно же, обиделась, но ненадолго. Минут через пять расмеялась:

— Теперь все увидели, какой ты у меня, Тимох, дуравило!

Он потом лез к ней исполнить своё “горько”, да она уж ни в какую.

Ещё один грешок воделся за моим дедом: он любил проехать в общественном транспорте “зайцем”. Никогда не забуду постыдного предательства, которое я совершил по отношению к нему. Дедушка всегда старался сэкономить на всём. Бабушка часто ругала его, когда он в булочной покупал самый дешёвый серый хлеб.

И вот однажды его зацапал контролёр. Я показал свой школьный проездной, а у деда — ничего нет. Контролёриша стала его стыдить:

— Пожилой человек, а не платит! Мальчик, это твой дедушка?

И тут я, подлец, готовящийся в пионеры, сквозь зубы ответил:

— Впервые вижу.

И отвернулся к покрытому морозным инеем окну.

До сих пор горю от стыда за это отвратительное предательство. Прости меня, дорогой дедушка Темноша! Ты бы за меня в огонь и воду, под мамин ремень бросался, защищая меня, а я...

Через три года после золотой свадьбы мой дедушка Темноша умер. Смерть сразила его внезапно. В последние годы он подрабатывал тем, что мастерил фанерные ящики для посылок и продавал их на колхозном рынке. Его постоянно гоняла милиция, которой было скучно жить ввиду полного отсутствия у нас в стране какой-либо преступности, кроме незаконного моего деда предпринимательства. И вот в тот роковой день Тимофей Степанович сколачивал очередной фанерный ящик, как вдруг прихватило сердце. Настоящие герои умирают со словами: “Да здравствует Родина!”, “Все остаётся людям!”, “Дети, берегите мать!” — и так далее. Мой дед, кавалер солдатского креста ордена Святого Георгия, помер, успев лишь пробормотать:

— Валидол! Валидол! Валидол!

Добежал до кровати, упал на неё и — помер.

Вернувшись из школы, я не мог поверить. Сидел на стуле возле мёртвого деда, и мне казалось, что грудь его тихонько колыхнется, что он скрытно дышит, притворяясь мёртвым. Да я сам сколько раз, бывало, играя в войну, притворялся мёртвым и старался почти не дышать для полного правдоподобия. Вот, думаю, и дед туда же...

Бабушка, вопреки атеистической воле покойного, заказала отпевание. Гроб принесли в храм Рождества Христова в Измайлове, где некогда отпевали дедова отца Степана Семеновича и дедову мать Анастасию Васильевну. Начался церковный чин. Я смотрел и смотрел на деда, лежащего в гробу, и хорошо помню, как впервые совершил неожиданное открытие — изменение лица отпеваемого покойника. Поначалу лицо дедушки Темноши сохраняло неприступный мертвецкий вид, серый и несколько обиженный, что ему так и не подали вовремя валидол. Уголки губ устремлялись вниз к подбородку, и поневоле каждый испытывал вину перед ним, что все ещё живы, а он вот лежит в своей последней деревянной постели...

Но что такое? Чем дольше шло отпевание, казавшееся мне и без того нескончаемым, тем больше просветлялось лицо моего деда. Обиженные

складки под уголками губ сгладились и исчезли, лицо из серого стало белым и даже как будто слегка порозовело. А главное, что на этом ещё недавно огорчённом лице появилось некое чувство удовлетворения и даже благодати. И это при том, что ушёл он из жизни убежденным атеистом, не причастившись и не исповедавшись.

Сколько раз я потом убеждался в том, что во время отпевания часто происходит то же самое удивительное явление. Словно человек, доселе недовольный, что пришлось покинуть тёплую и обжитую жизнь, вдруг получил какое-то удовлетворение свыше и не только смирился со смертью, но даже и рад ей.

А тогда я, впервые увидев это, стоял и удивлённо взирал на дедушкину метаморфозу.

Бабушка стояла рядом со мной справа, проливая скупую слезу, поскольку вообще всегда была скупа на слёзы, утиралась уголком платка и неотрывно смотрела на своего ушедшего мужа.

Потом вдруг легонько толкнула меня в плечо, наклонилась и произнесла лукавым, слегка озорным тоном:

— Глянь-ка! Не встаётъ!

Лет через десять на Измайловском вернисаже я купил настоящий солдатский Георгий. Увидев его, бабушка задумалась и сказала:

— Кто знает, может, это Тимохов крест. Откопали, привезли да и продали тебе.

Мы вместе с ней поехали на Николо-Архангельское кладбище, я выкопал в дедовой могиле глубокую ямку и положил в неё Георгия. А когда засыпал его землёю, бабушка сказала:

— Возьми, Тимоша, крест свой. И не теряй его больше.

АРИСТОКРАТ

На старой фотографии двадцатых годов прошлого века два родных брата, но оба такие разные. Один — во френче и галифе, на голове — большой картуз, сдвинутый чуть ли не на затылок, и весь вид у него простоватый, в глазах — некая лирика, как будто, фотографируясь, он мысленно напевает “Клён ты мой опавший”. Это мой родной дед Тимофей Степанович. Другой — в кожанке, узких светлых брюках, застёгнут, подпоясан ремнём, на котором примостилась грозная кобура, голову украшает элегантная фуражка, лицо волевое, губы сжаты, над губами — тонкие усики, в глазах — целеустремлённость. Это старший брат моего деда Артемий. И если он напевает мысленно, то только “Вихри враждебные веют над нами”.

Дед Артемий считался у нас в семье аристократом и сам таковым себя позиционировал. Я, конечно, знал его уже никак не в кожанке и не с героической кобурой, а степенным, заслуженным советским деятелем. О нём было известно, что в двадцатые, тридцатые и сороковые годы он занимал важные посты в карательных органах Твери, где и проживал вместе со своей женой Галиной и сыном Вадимом, который погиб в мае 1945 года.

— Между прочим, лётчик, Герой Советского Союза, — с гордостью говорила мне о Вадиме моя мама. Вся родня очень ценила наличие в своих списках Героя Советского Союза. Имелась фотография, на которой дед Артемий с женой Галиной Сергеевной стоят в Польше у могилы, увенчанной пятиконечной звездой.

Раз в три месяца Артемий Степанович и Галина Сергеевна приезжали к нам в гости. Я всегда изумлялся тому, как от дедушкиного брата пахнет хорошим одеклоном, а сам он весь подтянут, выглажен, суров и важен. Он непременно то и дело выуживал из кармашка жилетки часы, откидывал

крышку и проверял, который час, словно страна в какое-то урочное время ждала от него необходимого решения. Звонко захлопнув часы, он неторопливо возвращал их на место, поглаживал сверкающую цепочку и говорил:

— Да-с... Так на чём, бишь, мы остановились, судари и сударыни?

Ни дать ни взять — граф или даже князь, короче — голубая кровь. И это при том, что он, как и все его братья, происходил из самого простого крестьянского рода Кондрашовых, и предки его некогда были крепостными у дворян Лыкошиных на Смоленщине.

Садясь за стол, Артемий Степанович старательно повязывал себе шею салфеткой, щи вкушал не так, как все мы, ложками хап-хап, а аккуратно по пол-ложки, чтоб, не дай Бог, не капнуло. При этом он считал, что в щих или супе надо съедать только жидкую часть, на тарелке у него всегда оставалась недоеденная гуща, и это злило моих домашних, но они не показывали виду. Пил дед Артемий исключительно коньяк, бутылку которого привозил с собой, и она же вся ему и доставалась, поскольку мой дед предпочитал беленькую.

— Тимофей, — говорил старший брат, — сколько раз тебе повторять, что водку хлещут только извозчики? Коньяк — вот продукт! Даже Черчилль предпочитал наш армянский коньячок.

— А мне на твоего Черчилля накласть, — потихоньку начинал сердиться мой дед. — Я рабоче-крестьянский человек.

После обеда дед Артемий снимал пиджак, в жилетке ложился на диван и спал ровно сорок минут, как традиционно положено в русском дворянстве. Наступала тишина, все ходили на цыпочках.

Дед Артемий знал, что аристократы любят играть в карты, и потому по завершении послеобеденного сна он, Галина Сергеевна, а также мой дед и бабушка вчетвером садились за это дело. Игра шла на копеечный интерес, но, тем не менее, проигравший всегда расплачивался, причём наш высокий гость неизменно делал это с огромным достоинством. Огорчение выражалось у него лишь в том, что он начинал помногу сморкаться, каждый раз величественно расправлял огромный носовой платок, посылал в него дары своего носа, долго складывал сей предмет обихода, как упаковывают парашют, расправляя каждую складочку, и бережно препровождал платок в карман пиджака. Если же он выигрывал, то не проявлял никаких эмоций, получая выигрыш с барским выражением лица, словно оброк.

Перед уходом гости пили чай. Дед Артемий наливал в него остатки своего коньяка и так услаждался. Уходя, он обычно застывал перед бабушкиными иконами в красном углу:

— Так и подмывает машинально перекреститься. Клавдия, сними ты их, сколько раз я тебе говорил! А ты, Тимоха, куда смотришь?

— И вправду, Клава, — тихо и вежливо обращалась к моей бабке Галина Сергеевна.

— Нечего тут командовать! — говорил мой дед, к окончанию визита всегда страшно злой на своего брата-аристократа. — У себя в Твери расправляйся, понял?

— Ну, что же, прият-тно провели время, — говорил Артемий Степанович, протягивая всем руку, как некую драгоценность.

Однажды он не на шутку ополчился на бабушкины иконы:

— Между прочим, партия и правительство в ближайшее время вновь намерены взять курс на уничтожение религии. Леонид Ильич довершит то, что не доделал Никита Сергеевич. Надеюсь, в этом доме понимают, куда я клоню.

— Чего ж мне прикажешь? Николу Угодника в огороде закопать? — с тоской спрашивала моя бабушка.

— Да выбросить, и дело с концом, — говорила Галина Сергеевна.

— Нет Бога, Клавдия, — спокойно и уверенно произносил Артемий Степанович. — Двадцатый век и Бог — несочетаемые понятия. Для чего нам дан разум? Чтобы осознавать отсутствие Бога.

Мой дед, считая себя атеистом, поддерживать старшего брата, однако, не спешил, полагая, что у себя в доме он волен сам распорядиться:

— Ты, Артемий, партийный, тебе видней, есть Бог или нету. Я считаю тоже, что нет, но Клавдя имеет право.

— Тут дело не в Николе Угоднике, — возражал дед Артемий. — Дело в полах, которые, по сути, мешают нам строить будущее. Мне в своё время довелось иметь дело со многими из их среды. Упёртая сволочь, должен вам сказать, судари и сударыни!

— Вот ты, Артемий, человек партии, коммунист, идейный борец, да? — злился мой дед.

— Безусловно.

— А чего ж ты по-старорежимному выражаешься? Тут у нас сударей и сударышень нету.

Однажды после очередного посещения нас Артемием Степановичем и Галиной Сергеевной я подслушал такой разговор между моими дедом и бабкой:

— Может, и вправду, Тимох, твоя мать его не от моего тестя родила?

— А от кого же?

— Известно, от кого, в народе-то поговаривали про соседского помещика Зубова.

— Сбесилась ты? Чего мелешь, подумай!

— Да ты и сам иной раз в сердцах про него скажешь: “Зубовский выплясок”.

Слушая их, я вспомнил, что дед и впрямь так несколько раз выражался. И я, помнится, даже однажды спросил бабушку, что сие означает.

— Выплясок-то? — засмеялась баба Клава. — Чего ж тут непонятного? Помещик такой был у нас, по хвямилки Зубов. На свадьбе напился, плясал-плясал, плясал-плясал, вот у него из кармана Аргюха и выпал. Закатился в угол, его потом нашли да и отдали на воспитание Степану и Настасье, твоего деда Тимохи родителям.

Мне очень смешно было представить, как дед Артемий, маленький, будто солдатик, но уже такой весь из себя аристократический, вывалился из кармана пляшущего Зубова и покатился по полу в угол:

— Прият-тно провели время!..

И как его потом нашли, сдули с него пыль, протёрли и стали растить.

Спустя много лет, когда ни моего деда, ни его старшего брата уже и в живых не было, я занялся изучением своей родословной и много выпрашивал у бабушки, у других родственников. И вот что узнал про Артемия Степановича. В двадцатые годы он, тридцатилетний, много и усердно потрудился на ниве истребления буржуев, помещиков, священников и прочих представителей дореволюционной России. И именно тогда у него появился тот аристократический лоск, коим он впоследствии резко отличался от своих братьев. Раньше он был на них не похож только внешне — совсем иное лицо, а тут и в поведении появилась перемена. Общаясь с аристократами, перенял их манеру поведения. А учитывая слухи о его происхождении от помещика Зубова, можно только диву даваться, как решительно он мстил тем, кто в безумной пляске выронил его из своего аристократического кармана.

Не менее поразительными оказались и обстоятельства гибели единственного сына Артемия Степановича и Галины Сергеевны. Прежде всего, мне удалось выяснить, что никаким Героем Советского Союза летчик Вадим Артемьевич Кондрашов не являлся. Его представляли к награде, но так и не утвердили. Но не это главное. В мае 1945 года он оказался среди лётчиков, которым дозволили братание с американцами — “встреча на Эльбе”. Вышив за дружбу с каким-то Джеймсом или Томом, Вадим Кондрашов не глядя махнулся с янки самолётами. Такое тоже иной раз случалось. Удадь, лётчицкое гусарство. И из Германии он полетел не на своём отечественном истребителе, а на заокеанской машине. Пролетая над освобождённой Польшей, Вадим Артемьевич весело помахивал не своим, а чужим крылом. И наши же зенитчики, не увидев на том крыле красных звезд, ничтоже сумняшеса сбили парня. Так на нём и пресекалась линия деда Артемия, а возможно, и помещика Зубова.

Столь нелепая смерть, конечно же, не может быть предметом усмешки, хоть и горькой, но как ни крути, нельзя не задуматься о том, что деду Ар-

темию аукнулась его работа в карательных органах. “Своя своих непознаша, своя своих побиваша”...

Дед Артемий держался молодцом почти до самой своей кончины, и лишь в последний их приезд к нам в гости обнаружилось, как резко он сдал. Он всё ещё старался сохранять благородную осанку и барственное выражение лица, но плечи его то и дело опадали, а на лице что-то подёргивалось, отчего глаза становились растерянными и виноватыми, будто человека разоблачили в какой-то подделке. И пахло от него теперь не только одеколоном, но и тем, что свидетельствовало о старческом недержании. За обедом он пил только привезённый им же самим греческий апельсиновый сок, салфетку заложил себе за воротник криво и пятую ложку супа пронёс мимо рта, отчего по щеке побежал суповый ручеек, а кусочек моркови влетел ему в нагрудный карман. После этого он от супа отказался, трясущейся рукой вытащил из кармана жилетки часы и выронил их; они повисли, болтаясь, на цепочке. Он втянул их обратно, забыв посмотреть, который час, и лишь пробормотал:

— Судари и сударыни...

После обеда он прилёг на диван и проспал целых три часа. Проснувшись, объявил:

— Давненько в картишки не резались.

Но карты вываливались у него из трясущихся пальцев, игра не шла, он путал масти, а тут ещё моя бабка возьми да и спроси его:

— Артюша, ты про всех знаешь... Помещика Зубова опосля революции куда определили? В расход?

Дед Артемий вдруг испугался:

— Какого Зубова? Не было никакого Зубова! Ты чевоёй-то путаешь... То есть не чевоёй-то, а что-то. Вот ты, Клавдия, в Москве больше тридцати лет живёшь, а так и не научилась правильно говорить. Надо не “опосля”, а “после”. Пожалуй, судари и сударыни, кончим игру: не идёт она чевоёй-то.

Покидая наш дом, он кинул взгляд на бабушкины иконы и совершил самое неожиданное — поднёс ко лбу сложенное в щепоть троеперстие! Тотчас спохватился, сконфузился, покраснел.

— Время... — пробормотал Артемий Степанович. — Приятно...

Вскоре мой дед ездил прощаться с братом в Тверь, а вернувшись, описывал солидные, почти правительственные похороны с несением орденов и медалей на красных атласных подушечках. Галина Сергеевна, как верная голубка, пережила своего мужа всего на пару месяцев.

Что бы там ни было, мне помнится, как в детстве я восхищался выправкой деда Артемия, запахом его одеколona, неторопливостью движений, правильной речью и хорошо поставленным голосом. Иногда, вспоминая его, я пытался изобразить нечто похожее.

Однажды я выступал на открытии сельской библиотеки, дарил свои книги и почему-то припомнил Артемия Степановича. И до моего слуха донеслось, как две старые женщины говорили между собой обо мне:

— Гляди, какой холёный, ну, чисто барин!

— А нам бы другого и не прислали. Выразили уважение.

Я потом долго всматривался в зеркало, но так и не увидел в своих чертах сходства с дедом Артемием. Облегченно вздохнул и перекрестился на икону.

КРЁСТНЫЙ

Раньше в деревнях детская смертность зашкаливала, и потому зачастую спешили окрестить младенца как можно скорее, а то, не дай Бог, уйдёт некрещёным. Вот и меня, хоть я и родился в городских условиях, бабушка Клава понесла совершать первое в жизни человека таинство, когда мне исполнилось всего две недели. Крёстной матерью стала ближайшая подруга мо-

ей мамы Тамара Васильевна Кондейкина, а крёстным — мой родной дядя — мамин брат Александр Тимофеевич. Как мне позднее рассказывали, во время крещения я проявлял невозмутимое спокойствие, не рыдал и не дрыгался, в отличие от множества иных подобных мне молодых, но, когда священник погружал меня в воду, я каким-то волевым броском умудрился цапнуть его за нос. Прощаясь со мной, батюшка заметил:

— Чадо благоразумное, но опрометчивое.

Мой дядя Саша уже тогда служил в органах госбезопасности, но ничуть не побоялся крестить меня, даже рассказал об этом одному из своих сослуживцев и вскоре был вызван на ковер к начальнику. Начальник относился к нему хорошо и потому просто спросил:

— Ты что, сбрендил? Лучше ничего не мог придумать?

— А что? — невозмутимо пожал плечами мой дядя Саша. — Крестить положено. Я, например, крещёный. А вы разве нет?

Начальник хмыкнул, помялся немного и сказал:

— Да хоть обкрестись, только не болтай об этом никому впредь!

Кстати, мне и имя дали в честь дяди Саши. Поначалу мама хотела назвать меня Юрой, как моего отца. Вот был бы я тогда Юрьюрич!.. Некое излишне юркое сочетание имени и отчества. Но, к счастью, увидев меня в первый раз, мама решительно отвергла возмутительную двойную юркость:

— Да нет, какой же он Юра! Типичный Саша.

Скорее всего это потому, что я напомнил ей не мужа, а брата, с которым она росла не разлей вода. Да и всю жизнь они оставались дружны. Старший их брат Фёдор Тимофеевич родился в 1923 году, Александр Тимофеевич — в 1928-м, а моя мама — в 1931-м.

Они ещё успели вместе походить в деревенскую школу, расположенную в пяти километрах от села Высоцкого, где жили с родителями. Дорога до школы лежала через реку Вязьму, и зимой лёд давал возможность немного сократить путь — не тащиться до моста. Однако весной дядя Саша провалился, и моя мама его вытаскивала. Самого-то вытащила, а валенок принял решение стать удобным жилищем для раков. Эти панцирные обитали в Вязьме в огромных количествах. Так дядя Саша и явился в школу в одном валенке, мокрый, продрогший, а потом ещё и обратно так пять вёрст отшагал. Увидев его одновалечную, отец, то бишь мой дедушка Тимоша, рассвирепел:

— А кому я говорил больше не ходить по льду? Март месяц. Пёс ты, рыщарь, после этого. Тащи ремень, Сашка!

А моя мама взяла вину на себя:

— Он и хотел через мост, это я его уговорила по льду.

И разделила с братом угощенье отцова ремешка. Дядя Саша потом мне часто об этом рассказывал:

— Вот какая твоя мамка-то.

Когда мне исполнился год, крёстный ездил далеко на северо-восток, на Колыму. На вопрос: “Зачем?” — он, естественно, отвечал:

— Колымить.

Но важно не это, а то, что с Колымы он привёз настоящего живого медвежонка! Мы тогда жили все вместе в одной комнате в метростроевском бараке: бабушка с дедушкой, мама, я, дядя Саша со своей женой тётгей Светой и их сын Андрюша, на семь лет меня старше. А тут ещё один жилец появился!

Кто ещё может похвастаться, что рос вместе с медведем? А я могу. Правда, это совместное произрастание оказалось недолгим. Мишутка рос в несколько ином направлении мыслей и вскоре стал кусаться. Сначала ему не понравилось, как с ним сюсюкает соседка, и он привёл чёткое доказательство, что он отнюдь не “холёсенский” и не “сляденький”. Потом хватанул Андрея, потом — самого дядю Сашу. И, не дожидаясь роста числа жертв, его свезли в зоопарк.

Зато потом мы ходили смотреть на него в клетке с надписью “Бурый медведь”. Мы звали его:

— Мишутка, Мишутка!

Угощали сахарком. И нам казалось, что он нас помнит и узнаёт. Хотя, скорее всего, тварь это была неблагодарная.

Поскольку я рос без отца, дядя Саша во многом мне его заменял. Быть крёстным он по-прежнему не боялся, говорил мне:

— Зови меня крёстненьким.

Я так и звал его. По религиозным понятиям настоящим крёстным его никак нельзя аттестовать, он о Православии не знал почти ничего и не мог обогатить меня нужными знаниями. Но Александр Тимофеевич жил по хорошим человеческим понятиям, а они и есть христианские.

Забываясь о племяннике, крёстный приносил мне подарки. В детстве я часто простужался и, разболеваясь, всегда знал, что дядя Саша обязательно раздобудет мне что-нибудь вкусненькое, например, мою любимую ветчину, такую, которую можно достать только в УпДК, где он и работал. Поначалу я думал, что там какой-то упадок, но не в смысле деградации, а в смысле, что там нечто с небес падает, успевай только ловить. Потом мама объяснила мне, что УпДК — это Управление дипломатическим корпусом при Министерстве иностранных дел СССР. Крёстный служил там в разное время на разных должностях, но вообще-то он был кагэбэшник, следил за иностранцами и докладывал об их действиях. Долгое время крутил баранку в качестве личного шофера у представителя французской фирмы “Рено” и, как положено, докладывал начальству обо всех передвижениях своего мсье Бернара, но тому это никак не вредило, поскольку он не шпионил, а просто работал у нас в стране.

По утрам дядя Саша вставал пораньше, ехал в свой гараж и прежде, чем отправиться к мсье Бернару, заезжал за мной на великолепных иномарках, чтобы отвезти в школу меня и моих друзей — Нефёдика и Галкина. Для нас это, конечно, было особым шиком — с небрежным видом выкатиться из чрева “Рено” или “Вольво”, но чаще всего — из роскошного чудовища, которое называлось “Форд Таунус” и имело ярко-красное тело и чёрную крышу.

— У Сашки дядя в динкорпусе работает... Везёт дуракам!

Многие законы человеческого общежития я впервые познал с помощью своего крёстного. Вот один пример. Каждое лето мы отправлялись в деревню: я, бабушка, дедушка и Андрюша. Там мы жили в просторном доме двоюродного племянника моей бабушки — дяди Миши Петрова, егеря в охотхозяйстве. И каждое лето собиралась веселая ватага: помимо нас с Андреем, дяди Мишины Слава, Валера и Юра да ещё их двоюродный брат Колька. Так вот, в детстве я больше всего на свете любил яйца. В любом состоянии — вкрутую, в мешочек и сырые. И моя бабушка Клавдия Фёдоровна, зная сие пагубное пристрастие, тайком от остальной ребятни подкармливала меня свежими сырыми яйцами. Вставая всегда раньше всех, она первым делом отправлялась в курятник, приносила только что изготовленную несущими продукцию и пару экземпляров занывкивала для меня. Потом улучала момент и затаскивала меня куда-нибудь в укромный уголок:

— На-ка, унущек, скушай-ка иищко. У городе-то таких не поешь.

Однажды крёстный выследил нас и нагрянул с облавой в тот самый миг, когда я совершал преступное и оттого ещё более сладостное высасывание желтка. Первым делом я познакомился с силой его затрешины. Потом состоялся короткий товарищеский суд над бабушкой:

— А от тебя, мама, я такого, прости, не ожидал. Тебе стыдно должно быть воспитывать из внука морального урода.

Бабушке стало стыдно:

— Да иди ты у жопу! Учить меня уздумал!

Но дядя Саша продолжил расправу:

— Следуй за мной!

Он взял меня за ухо и повел в ещё более укромное место. Я едва не писнул в штаны, ожидая избиения. Мне не столько страшными казались побои, сколько то, что их произведёт мой любимый *крёстненький*.

Но он присел передо мной на корточки и внимательно посмотрел глаза в глаза. Потом произнёс:

— Пойми, дурачок, я в значительной мере отвечаю за то, каким человеком ты станешь. Отвратительно начинать свою жизнь с того, чтобы украдкой жрать яйца, принадлежащие всем поровну. Ты понял меня?

Я вскрикнул:

— Понял.

И почему-то виновато улыбнулся. Левая половина лица у меня пламенела после встречи с дядишаминой десницей. Он сказал:

— Прости, что пришлось тебя ударить. Так ты лучше запомнишь. Только не говори, что бабушка тебя заставляла жрать эти яйца.

Я чуть не разрыдался:

— Да ты чо, крёстныйкий! Нет, я сам её просил!

— Ну, ладно, замнём это дело.

Он обнял меня и отпустил, легонько шлепнув по тому самому месту, в которое недавно его самого откомандировала бабушка.

Крёстный одинаково был строг и со мной, и со своим сыном. Однажды мы там, в деревне, играли в футбол. Изваяли настоящее футбольное поле с разметкой, как полагается, сколотили ворота. Целый день трудились, и уже не терпелось начать игру. А тут ещё стадо коров во что бы то ни стало решило пройти именно через наш стадион. Пришлось несколько свежее испеченных коровьих блинов убирать. Наконец, начался матч. Андрюша поставил меня в наших воротах, и я очень быстро пропустил целых пять банок. Не дожидаясь шестой плохи, мой брательник удалил меня с поля:

— Пошёл отсюда!.. — и он добавил непечатное слово.

Я, обиженный больше даже на себя, чем на него, отправился в дом. При виде меня крёстный спросил:

— А ты почему не играешь в футбол?

— Потому что я... — и я произнёс применённый ко мне Андреем эпитет, не подозревая, что слово это — нецензурное. Мне оно казалось вполне основательным и заслуженным. Пропустил три гола — просто дурак. Пропустил пять — переходишь в иную степень дураости.

— А кто тебя так назвал?

— Андрей. Я пять голов про...

Но не успел я договорить, как дядя Саша уже помчался к Андрею...

Благодаря крёстному я почти никогда не чувствовал, что у меня нет отца, а Андрюшу считал не двоюродным, а родным братом.

По-настоящему я понял, что за удивительный человек мой крёстный, когда умер его отец — мой дедушка Тимоша. В те времена Александр Тимофеевич и его жена Светлана Васильевна второй или даже третий год работали в ГДР. Андрей, уже семнадцатилетний, жил в Москве под присмотром моей мамы, учился в техникуме. И вот, находясь в городе Кёнигс-Вустерхаузене, дядя Саша узнал о смерти своего отца и тотчас к начальству:

— Прошу предоставить краткосрочный отпуск.

А начальство ни в какую:

— Что, там у вас в родне некому похоронить? Сейчас никак нельзя.

— А я говорю: должен ехать!

— Ишь ты какой! Пиши заявление и увольняйся, если так.

И он взял да и уволился. Бросил завидную работу в земле Бранденбург, собрал всё нажитое там имущество и вместе с женой прикатил в Москву, успев как раз к самым похоронам.

На кладбище он мне сказал:

— Теперь я в первом ряду обороны, а ты во втором.

— Как это?

— Ну, дед был в первом, теперь его не стало, я перехожу из второго в первый, а ты из третьего во второй. Понятно теперь?

Во время поминок меня дико смущал пакет с индейцами. Я сидел за столом на диване, а этот пакет, привезённый мне в подарок дядей Сашей, лежал у меня в тылу и грыз мне спину. Индейцы были из твёрдой резины, превосходно раскрашенные, в разных позах: прицелившийся из лука, с колена стреляющий из винчестера, ползущий с ножом в руке, скачущий на лошади, швыряющий томагавк, трясающий копьём, швыряющий с трубкой у костра и, конечно же, вождь в полном своём великолепном оперении... Словом, они не могли терпеть, пока окончится печальная церемония, шуршали целлофановой коробкой, в которой изволили приехать к нам в СССР, и в итоге оказа-

лись у меня под ягодицами. Один из них, по пояс обнажённый и с винчестером, проник мне тайком в руку, и я украдкой мог его разглядывать, пока мама не шикнула на меня:

— Побойся Бога!

Я виновато оглядел собравшихся за столом. И вдруг увидел глаза моего крёстного. Полные тепла.

— Да ладно тебе, Нин, — сказал он моей маме. — Отца всё равно не вернёшь. А парню индейцы...

За то, что он написал заявление и уехал из ГДР хоронить своего отца, Александра Тимофеевича уволили из органов. И два года он работал в нашем жэке — столярничал и слесарничал. При этом ничуть не огорчался и даже напротив:

— Давно мечтал! Надоело это УпДК.

Впрочем, через два года Комитету государственной безопасности снова потребовались надёжные и проверенные кадры, и моего крёстного пригласили вернуться. Сказали:

— Толковый ты мужик, такие на дороге не валяются. К тому же, наверное, одумался.

Куда тут денешься? Он вернулся. Однажды его даже поставили комендантом какой-то американской выставки, проходившей на ВДНХ, а в награду за хорошую работу выдали ценный подарок — ящик красивых полиэтиленовых пакетов с видами Нью-Йорка и Далласа.

Выпивку Александр Тимофеевич считал неотъемлемой частью повседневной жизни, но никто и никогда не видел его пьяным. Во время застолий, почувствовав, что принял лишнее, он просто находил, где прилечь, засыпал на пятнадцать-двадцать минут и вставал, как огурчик. Настоящий разведчик. Соседка по даче однажды придумала, будто видела, как он валялся в лесу пьяный, а по нему лягушки скакали.

— Мой Саша? Да ни в жись! — мгновенно встала на защиту своего сына моя бабушка. — Он ведро может выпить, уздремнёт малость и встаёт, как новенький. А ты сама-то рюмку опрокинешь, и по тебе уже каракадилы ползают.

Легендарная разведчицкая способность пить много и не пьянеть погубила дядю Сашу, когда в середине 1980-х скончалась его жена, которую он очень любил. Любовь свою он раньше никак особо не проявлял. Я не помню, чтобы он называл Светлану Васильевну зайчиком, пусенькой, звездочкой или хотя бы просто Светочкой, Светиком, Светланочкой. Исключительно Светкой. И даже мало того — ввиду особой полноты супруги нередко употреблял довольно обидное:

— А где тётя Слон?

Но когда жены не стало, он так загоревал, что принялся глушить тоску горячими веществами. Уехал на дачу с несколькими ящиками водки и неделю пил без продыху. Зная, сколько Александр Тимофеевич мог выпить, не пьянея, можно только с ужасом догадываться, в каких количествах он поглощал целебное снадобье, чтобы оно его проняло. Кончилось тем, что утром, проснувшись, он увидел в углу комнаты отнюдь не индейцев из твёрдой резины и превосходно раскрашенных, а такого же размера чёртиков — зелёных, резвых, юрких. Что они делали? Разумеется, бесновались. Строили ему рожи, огорчали похабными жестами, а главное — пищали и чирикали, как воробы.

Всё это он потом мне откровенно рассказывал, когда спустя год к нему вернулся дар речи:

— И представляешь, Санька, что же я тогда сделал? Я взял веник, совок, сгрёб эту нечисть и отнёс в кучу компоста. Выкинул, вернулся, налил себе стакан, собрался опрокинуть... И тут у меня лоб покрылся вот таким слоем пота. "Стоп, Саша! — сказал я себе. — Ты кого сейчас в компост выбросил? Примите наши поздравления, Александр Тимофеевич, вы допились до чёртиков!" А ещё говорят: их нету. Попей с моё — и увидишь. Теперь я точно знаю, Санька, что они есть. А значит, и Бог есть. И надо от них к Нему стремиться, вот что я тебе скажу, крестничек мой!

Испугавшись такой встречи с нечистью, дядя Саша сел за руль и поехал с дачи в Москву. Очнулся он внезапно и увидел, что едет по встречной полосе. Затормозил, съехал на обочину, и тут его арестовал инсульт.

В первое время после больницы дядя Саша не мог говорить, а в ответ на все вопросы плакал, виновато улыбаясь и моргая. Слезы текут, а он улыбается, будто ребёнок, которого застучали, как он пьёт сырое яйцо, принадлежащее всему коллективу.

За восстановление дяди Саши взялась тётя Зоя. Она жила в соседнем доме и давно мечтала о таком муже. Внешне Зоя Ивановна очень напоминала Светлану Васильевну, только несколько поменьше в размерах, и если ту называли “тётя Слон”, то эту можно было назвать “тётя Слоник”.

Хорошая, добрая женщина, она и впрямь всю себя положила на алтарь возрождения моего крёстного. Андрей жил с семьей на другом конце Москвы, я какое-то время ухаживал за дядей Сашей, но он явно нуждался в крепкой женской руке тётя Зои. Она обменяла свою однокомнатную и его однокомнатную квартиру на однокомнатную же, но чуть побольше, с огромной доплатой, которую пришлось выплачивать до конца жизни. Оформив брачный союз, Зоя Ивановна охватила весь массив знаний о том, как поднимают на ноги человека после тяжкого инсульта. И уже через год дядя Саша стал разговаривать и не плакать, а ещё через два — ходить вполне самостоятельно.

Я часто навещал его, тем более что жили они теперь с тётей Зоей прямо рядом с храмом Рождества Христова в Измайлове — тем самым, в котором давным-давно дядя Саша стал моим крёстным, а я цапнул за нос добродушного измайловского попа.

Зоя Ивановна обожала изобретать напитки собственного производства на основе спиртов. У неё были и приторно-сладкие, и такие, от которых скула сама собою уходила с запада на восток, а изредка получались и даже вполне приемлемые. Когда я приходил, она потчевала меня своими шедеврами. Бедный дядя Саша вынужден был на это смотреть. Да ещё время от времени укальваться о строгое тётизионо:

— Тебе, Сашочек, этого нельзя. Нельзя, миленький мой. Нельзя, голубчик, хоть ты тресни.

И он сидел, покрываясь серым налётом, покуда Зоя Ивановна не отлучалась по нужде или чтобы вытащить с балкона белого кота с отвратительным характером. В эти звёздные мгновения я стремительно наливал ему стаканчик, и он столь же стремительно его выпивал. А то успевали и два взять. Асфальт мгновенно спадал, лицо у крёстного становилось румяным и счастливым, а вернувшаяся Зоя Ивановна радовалась:

— Видишь, Сашочек, как ты разругнулся! Это на тебя болосы хуато такое оказывают воздействие. Кому что, как говорится. А нам с твоим крестничком Сам Бог велел. Давай, Сашунчик, наливай.

Она так и разделяла нас: он — Сашочек, а я — Сашунчик.

— Ну, как, Сашунчик, тебе моя полынная? Хороша? То-то же, не у Пронькиных. А Сашочку нельзя. Ни в коем случае нельзя. Даже вот столечко выпьет, и ему смерть мгновенная. Не я придумала. Врачи говорят.

И так под неусыпным присмотром Зои Ивановны мой крёстный прожил между первым и вторым инсультом целых пятнадцать лет. Несколько раз за эти годы она водила его в храм Рождества Христова.

— Да как исповедовался?.. — задумывался дядя Саша над моим вопросом. — Грешен? Грешен. Грешен? Грешен. Вот и всё. А я и не возражаю, что грешен. Что ж возражать, если грешен. Хотя какой на мне такой грех, ума не приложу. Жил, людям зла не делал. Но исповедь, как говорится, есть исповедь. Пришёл — так не увиливай. Потом причащался. Вот бы тогда в органах узнали, что я причащаюсь! Смешно и представить. А помнишь, Санька, как ты попа за нос цапнул? Это ещё что! Мой Андрюха попа и вовсе струей окатил. Тот очень сердился. А на тебя нет.

Тема работы в органах печалила дядю Сашу:

— Отдыха не знал. А какова теперь благодарность? Эти копейки? Лучше бы я всю жизнь столяром работал, плотником, слесарем. А ещё лучше — в деревне...

Когда крёстного взял под арест второй инсульт, он уже не оправился, несколько дней был без сознания, никого не узнавал и только звал какую-то Любу.

— Сашунчик, не знаешь, где эту Любу разыскать? — спрашивала Зоя Ивановна. — Чудно, ей-Богу! Я у него Зоя. Та жена была Света. А он не меня, не её не зовёт, а только: “Люба! Где Люба? Позовите Любу!” Я бы ему её привела, лишь бы только Сашочек мой выздоровел.

Я обзвонил всех, кого только можно. Никто не знал никакую Любу. Так и ушла эта тайна вместе с моим крёстным, а я из второго ряда обороны перебрался в первый.

“ДУЕТ-ДУЕТ ВЕТЕРОК...”

Отец работал в такси. Иногда люди у него в машине что-то забывали, и он привозил эти находки мне в подарок на день рождения 12 июня, или 12 сентября, или 12 марта. Он помнил, что 12, но всякий раз забывал, что я родился 12 апреля. Конечно, трудно запомнить День космонавтики...

— А почему ты меня называешь Сашей, а не Васей? — спросил я как-то в очередной такой раз.

— Какой же ты Вася?

— А какой же мой день рождения — 12 января!

Однажды он подарил мне классные “Командирские” часы, и хотя они были не новые, я с гордостью носил их. Забегая вперёд, надо сказать, что много лет спустя я потерял эти часы на даче у Станислава Юрьевича Куняева на грядке. Часы пролежали под снегом всю зиму, весной Куняев нашёл их, встряхнул — и секундная стрелка пошла, сделала десять шагов и отвалилась. Но ведь пошла!

В другой раз подарком из такси стала шариковая ручка с двенадцатью стержнями разных цветов, толстая такая. Отец уверял, что она новая, да вот только чёрный и синий стержень оказались уже израсходованными. Ну и что! Зато ни у кого из моих друзей в шариковых ручках не было жёлтого, оранжевого, коричневого, ярко-красного, тёмно-красного, голубого, фиолетового, серого, салатного и изумрудного.

Словом, я всё равно прощал отцу разные неточности и небольшие промахи. Потому что он был весёлый. Даже моя бабушка, называя его баламутом и осуждая за развод с моей мамой, веселилась, когда он приходил изредка к нам в гости, неизменно в приподнятом настроении, слегка ветреный, с беспорядком в причёске, всем своим видом показывая: “Что бы ни происходило, мне всё *парапллю*”.

Вообще-то “парапллю” по-французски “зонтик”, но отец подарил этому слову иное значение, в котором пара пустяков смешалась с плеванием.

Если что меня и раздражало в отце, так это его любимая дурацкая песенка из репертура Юрия Визбора:

*Дует-дует ветерок, ветерок, ветерок,
Поддувает ветерок, ветерок, да!*

К тому же, и мама, страдая меня отцом, нередко говаривала:

— Будешь плохо учиться, окажешься, как твой отец, не пришей кобыле хвост. Всю жизнь за баранкой. *Дует-дует ветерок...*

История их взаимоотношений и моего появления на свет была сложная. Мама родилась в деревне, потом вместе с отцом, матерью и двумя братьями перебралась в Москву. Мой дед строил метро и бункер Сталина в Измайлове, бабушка работала на заводе. Старший брат мамы Фёдор Тимофеевич пропал без вести в 1941 году в Вяземском котле. В войну жили трудно, голодно. Дед до 1943 года находился в резервных войсках. Вернулся оттуда ис-

худавший — резервных-то почти не кормили. И в Москве житьё было не лучше. Бабка вспоминала, как она ездила в Подмоскowie на картофельные поля, собирала то, что было недоубрано, а за это могли и арестовать. Однажды её милиционер застукал.

— И как на грех, я целых полмешка картошки насобирала. Радуюсь, а сама трушу: не к добру такая удача. Не радуйся нашедчи, не плачь потерявши. И точно. Хорошо хоть, милиционер добрый попался. Картошку всю фисковал, а меня отпустил, — рассказывала моя бабушка Клавдия Фёдоровна.

— Мама! Не фисковал, а конфисковал, — как обычно, поправляла её моя мама.

— Ну, конфисковал. Отобрал, короче говоря.

Отец родился в Москве, хотя его родители происходили из западных мест России. Мой дед по отцу Лука Епифанович говорил:

— Я появился на свет в деревне Девятки, Пружанского уезда, Гродненской губернии, царства Польского, Российской империи.

Он был белорус, хотя его дед происходил из Венгрии и до принятия Православия именовался Иштваном, а покрестившись стал Степаном. И если в моём деде Луке Епифановиче прочно сидело белорусское спокойствие, скромность и даже застенчивость, то в моём отце через три поколения выскеркнулась венгерская удаль, весёлость и бесшабашность, воспринимаемая иными как дурь.

— Ох и болмут ты, Юрка! — говорила ему моя бабка с тёплым укором. — Ты когда-нибудь-то хоть угомнишься, бестолковый?

— Только когда моя карусель закроется, — отвечал он.

Кстати, он и моя мама познакомились как раз на карусели. Мама училась на курсах стенографисток при Верховном суде СССР, а по выходным подрабатывала в Измайловском парке, куда отец постоянно шастал в поисках приключений, играл на бильярде, кутил с дружками, знакомился с девушками.

— Иду как-то и думаю: “Чего это я такого выпил, что у меня двойтсся?” Передо мной две красотки, походочка, всё такое, и абсолютно одинаковые. Стройные, высокие, подтянутые. *Дует-дует ветерок, ветерок, ветерок...* Я между ними и нырнул: “Позвольте вас раздвоить!” Смотрю направо — красавица. Смотрю налево — точно такая же. Оказались близняшки, Нина и Люся. Мои самые любимые имена. Баскетболистки из “Динамо”. Это меня и погубило. Не мог выбрать, которая мне больше нравится. Не брать же обеих! А потом прихожу с ними на каруселях покататься и вдруг увидел твою маму. Красавица, хоть сейчас бери и в кино снимай. Говорю: “Девчата, простите, но вам надо близнецов себе искать”.

В тот день он порядочно выиграл на бильярде, чувствовал себя в кураже и, дождавшись, когда карусель станут закрывать, явился с букетом цветов, пригласил мою маму кататься на лодке и в тот же день объявился ей в любви. В те времена его отчислили из одного института, он готовился поступать в другой, на “Мосфильме” подрабатывал в массовке и даже сыграл пару эпизодических ролей. В одном фильме — идейного комсомолиста, гневно выступающего на собрании, в другом — прощельгу, цепляющегося к девушкам, что ему было ближе и получилось куда лучше. С ним вместе пытались войти в мир кино два приятеля, Женья и Саша.

— Твоему отцу по артистизму они в подмётки не годились. Я сама на этот артистизм клонула. И на остроумие. Все считали, что у Юрки большое будущее в кино, а Женьга с Сашкой так в массовке и затеряются. Однако они вон во скольких фильмах сыграли, хоть и в эпизодах, а лица узнаваемые. А твой отец где? *Кренче за баранку держись, шофёр!* — вот где.

Это мне мама говорила иногда, когда в кино мелькали Женья или Саша, довольно известные советские артисты. Во всяком случае, их фотокарточки можно было купить в киосках “Союзпечати” в серии “Актёры советского кино”, а от моего отца осталось только несколько красивых мосфильмовских снимков, где он в пробах на роль продажного итальянского журналиста.

Его актёрские дарования проявились и во множестве любительских снимков, где он стоит вверх ногами на фургоне грузовика, ловит рыбу в об-

лике Робинзона Крузо, просит подавание, втянув в себя и без того худые щёки, участвует в повседневной жизни стаи бродячих собак или, забравшись на дерево, показывает, как жили наши далёкие предки, разоблачённые теорией Дарвина. Но дальше этого карьера артиста не заладилась и с годами фраза: “Юр, тебе бы в актёры” — воспринималась им болезненно, хотя он не показывал виду:

— Я уже там был, ничего хорошего. Артисты всё равно, что крепостные крестьяне, а я человек вольный.

В итоге вольный человек не стал знаменитостью, не получил никакого высшего образования и, женившись на моей маме, сделался водителем. Сначала в Москве, потом — дальнбойщиком. И ему это нравилось.

— Люблю дорогу! Люблю разные виды природы, неожиданные встречи с хорошими людьми. Простые люди интереснее знаменитых и избалованных. Мне подлецы редко попадаются. Один раз только остановили грабители. Тормознули. “Открывай, что там везёшь, какой груз?” Я: “Самому интересно. Только, братцы-кролики, открывать не советую. Там такие приборы, что если вскрыете, у вас через час ваши приборы почернеют, а потом отвалятся. Жаль будет ваших жён”. Хорошие ребята оказались. В благодарность только деньги у меня отобрали, пинка дали и отпустили, а могли бы и кокнуть, дорога пустая стояла.

Быть может, если бы у моих родителей было отдельное жильё, всё сложилось бы иначе. Но отец проживал в коммуналке, в одной комнате со своими родителями. Мама и того хуже — в метростроевском бараке в одной комнате со своими родителями, братом Сашей, его женой Светланой и их сыном Андрюшей. Спали за ширмочками. Там же потом и я появился на свет.

Наверное, мама всё чаще думала об отце как о неудачнике, который не может использовать свои дарования, выбиться в люди, обрести для них отдельное жильё. Её сердило, что он не просто не может, а не особо старается улучшить условия их совместной жизни. Начались ссоры, потом — скандалы, потом — разрывы отношений, становившиеся всё продолжительнее и продолжительнее.

В последний раз они сошлись, чтобы сделать меня.

Стояло лето 1958 года. Во Франции начиналась Пятая республика, в Венгрии повесили убийцу царской семьи Романовых Имре Надя, на Кубе шла революция под руководством Фиделя Кастро, а мой отец повёз моих дедушку, бабушку и маму в их родные смоленские места на отдых. Они с мамой помирились.

— Навсегда-навсегда!

— И как будто никаких ссор никогда не было.

Это они оба мне потом в разное время рассказывали, что тот июль 1958 года был у них самый счастливым в жизни. Они гуляли по окрестностям, мама показывала отцу все заветные места своего детства, вечерами они сидели у костра, по ночам на сеновале от заката до рассвета делали меня, и наверное, отец часто напевал свою другую любимую песенку, которую пел в минуты особого восторга перед непобедимой радостью жизни:

*До чего же хорошо кругом!
Тада-рида-тада-ри родимый дом,
Эта радость золотая,
Это ты, страна родная,
Прямо в речку кувырком, кувырком!
До чего же хорошо кругом!*

Слова там в той песне не совсем такие, но отец пел именно так и никогда иначе. Потому что ему и так было хорошо. Грустных песен он никогда не пел, “Чёрного ворона” на дух не переносил. “Из-за острова на стрежень” его просто бесила:

— Ну, выкинул бы в Волгу всё золото награбленное, а княжну-то с какого такого бодуна погубил? Событьльнички возбужнули? Ну, взял бы, прича-

лил к берегу да и выпустил в лесочек. Она бы на дорожку вышла, а её какой-нибудь хороший дальнобойщик подобрал. Которые из варяг в греки шастали.

Зато “Дует-дует ветерок” и “До чего же хорошо кругом” были его национальными гимнами.

В то же лето они расстались. Навсегда-навсегда. Причину я так и не узнал. Ни от мамы, ни — позднее — от отца. Когда я родился, отец во время очередной дальнобойной поездки познакомился в Хабаровске с другой женщиной, развёлся с моей мамой, женился во второй раз, и у него родилась дочь. Вторая жена заставила его забыть про дальнобойство, и он стал таксистом. Сменил просторы великой страны на просторы и закоулки великой столицы. И ему понравилось. Человек талантливый, он не только изучил Москву досконально, но знал, кто где живёт, кто где бывает, кого и куда отвезти. Разумеется, речь идёт об известных и знаменитых жителях. К примеру, он рассказывал:

— Проезжаю мимо редакции “Нового мира”. Стоит главный редактор, ловит такси, а сам вот такошенький. Сажая. “Домой!” И сразу засыпает. Везу его домой. Открывает глаза. “На дачу!” Везу его на дачу в Абабурово. Открывает глаза. “Куда мы едем?” — “Ездили домой, теперь на дачу”. — “А ты откуда знаешь, где у меня дача?” — “Ну, ты же Тёркина написал. “Переправа, переправа, берег левый, берег правый”. Каждый уважающий себя таксист это знает. Мы твоё творчество ценим”. Глазом так на меня косится, а сам, видно, доволен. Они любят, когда их ценят. Приезжаем на дачу. “Домой!” Едем опять в Москву. “А тебя, часом, не Машка послала?” — “Нет, Мария Илларионовна тут ни при чём”. — “Ты подозрительный таксист. Откуда всё знаешь?” — “Так жить интереснее. Да не бойся, я всё понимаю. Мария Илларионовна просила водителя тебя домой доставить, а ты в таком виде появляться не хочешь. Вот и ездим домой — на дачу — домой. Подъезжаем. Опять на дачу?” — “На дачу!” У него же дома — жена, на даче — тёща, или наоборот, от обеих достанется. Вот и ездит, трезвеет. “Стой, — говорит, — писать хочу”. “Делай, как я!” — говорю. Выволакиваю его из машины, становимся оба перед бампером, я капот открываю: “Делай вид, что мы оба в моторе копаемся, а сам на бампер ссы себе сколько влезет”. Оба отлипли, вернулись в машину. Он: “Уважаю я таких представителей нашего великого народа. С их неиссякаемой смекалкой”. А я ржу: “Как говоришь? С неиссякаемой?” Он тоже ржёт. Деньги отвалил мне порядочно. Привёз я его после очередного туда-сюда вполне уже в дипломатическом виде.

Думаю, если бы моему отцу довелось хоть однажды встретиться со многими персонажами серии “Жизнь замечательных людей”, то все эти встречи имели бы примерно такой же вид, и редактора книг о великих людях сталкивались бы с затруднением, вставлять ли подобные эпизоды в солидное издание. Кроме автора поэмы “Василий Тёркин”, в его такси попадали и другие знаменитости, и все они почему-то оказывались в определённом смысле хорошо подготовленными к встрече с моим отцом, а Юрий Лукич проявлял к ним должную заботу и внимание, за что удостаивался не только лишних чаевых, но и памятных значков, авторучек, брелков и всяких подобных безделушек, которыми не жаль отблагодарить хорошего человека.

— Я ему говорю: “Аркадий Исакыч, вам же нельзя, у вас же сердце, а вы — в греческом зале, в греческом зале... Ну, разве так можно?” — “Нельзя, говорит, голубчик, нельзя! Но ведь кругом враги, завистники, так и хочется иной раз расслабиться”. Галстук-бабочку мне подарил. А на хрена она мне, я и такие-то галстуки не ношу. Соседекому коту привесил на шею.

Ни в коем случае нельзя в точности доверять рассказам моего отца о великих людях страны. Вполне возможно, что он всё это выдумал. Сам не попал в знаменитости, так кичился тем, что возит их пьяными, и общаться с ними для него — *параплюю*.

Но в том, что он действительно знал каждый московский закоулок, мне доводилось не раз убедиться воочию. Таких таксистов сейчас уже не бывает, а тогда они водились в Москве, составляя особую касту. При этом они презирали, скажем, тех, кто возит пассажиров только с вокзалов или из аэропортов, называя их *чемоданниками*. Презирали также и *пиджаков*, то бишь

тех, кто сажал к себе в машину только богатых клиентов, умея их миглом распознавать на улице. Несколько раз, ездя с отцом на его такси, я становился свидетелем того, как легко он прощал пассажирам, если у них не хватало денег, чтобы расплатиться.

Но это было уже тогда, когда я подросток, а с детства и до смерти мамы общение моё с отцом случалось редко, раз или два в год, а то и реже. Стыдно вспоминать, но однажды я вообще не впустил его в дом. Вот как это было. Мама долгое время не оставляла надежды найти себе хорошего мужа, а мне — отца. Трижды у неё появлялись мужчины, с которыми она намеревалась создать новую семью. Но все они пребывали в браке и в какой-то несчастный день признавались маме, что не могут уйти из той семьи. Однажды, после второго крушения надежд, мама горестно сказала:

— Видно, сынок, не будет у тебя папки.

Я тогда уже учился в третьем классе и сказал:

— У меня есть папка! — И принёс маме картонную папку для тетрадей. Этот остроумный жест мне до того понравился, что когда через некоторое время Юрий Лукич явился проведать сыночка, я спросил его нагло:

— Простите, а вы кто?

— Здравьёте! Я так, так изменился? Это же я, твой папка!

— Простите, но у меня уже есть папка.

— Уже есть? — растерялся он.

— Минуточку, — сказал я, оставил дверь на цепочке, сбегал за папкой и показал ему:

— Видите, написано: “Папка для тетрадей”.

— Ну, ты даёшь, ханурик! — усмехнулся отец. — Остряк-самоучка! Весь в меня. Ну, ладно тогда, покедова!

Когда мама пришла с работы и я весело поведал ей об этом, предвкусывая, как она обрадуется, то внезапно ударился о стену:

— Это очень плохой поступок. Я тобой очень недовольна.

— Как? А разве ты сама...

— Я могу на него злиться и что-то сказать о нём обидное, но ты не имеешь права. Это твой отец. Каким бы он ни был. К тому же, он вообще-то очень неплохой человек. Просто мы с ним не пара. Запомни: отец — это такое же святое понятие, как и мать. Кто начинает с пренебрежения к родителям, тот плохо кончит. Зарубил?

— Зарубил.

— И ещё: он не такой уж и ветродуй, каким может показаться. Да, он не попал в артисты, и это его подкосило. Но ещё раньше он пережил другое сильное разочарование.

— Какое?

— Он с детства мечтал о небе.

— О небе?

— Да, готовился в лётчики со школьной скамьи. А его забраковали в лётное училище. Из-за плохого зрения. Он очень сильно переживал.

Потом, когда после смерти мамы мы с ним по-настоящему подружились, отец рассказывал мне, как действительно горел мечтой о небе, знал всё об авиации, хотел быть военным лётчиком, но его срезали из-за близорукости:

— Я, Санёк, таблицу Головина-Сивцева до сих пор наизусть помню. Назови любую строку. Четвёртая снизу: бэ-кэ-шэ-мэ-и-ы-эн. Третья снизу: эн-кэ-и-бэ-мэ-шэ-ы-б. Даже самую маносенькую, которую в принципе можно было и не знать, нижнюю: ы-и-н-кыньб. Она, кстати, такая же, как и вторая снизу, зачем-то. Дурни эти Головин и Сивцев! Словом, наизусть знал. Вот давай сейчас в оптику заглянем, проверим.

— Да не надо...

— Как это не надо! Будешь потом всем рассказывать. Спросят: “Сам видел?” — “Нет, со слов отца”. — “Сам ты с ослов! — скажут. — Юркиным ослим верить нельзя, известный был брехун”. А ты им: “Нет, сам видел”.

И мы шли в подвернувшуюся оптику, где отец становился далеко, а я поближе, и он действительно без очков назубок шпарил все эти буквы, складывающиеся в некие зловещие слова.

— Вот так, брат! — ликовал отец, и мы ехали дальше. — Так вот, вдобавил я в себя навеки эту таблицу и думал, ну, теперь мне поступить в лётное училище — *параллюи*. Зрение-то было главным и единственным препятствием, в остальном я был подкован, как конь. И что ты думаешь? Как надо мной посмеялась злодейка судьба?

— Не знаю.

— А вот как. Мне-то, когда сказали выучить таблицу, я и не подумал, что их две. Одна — обычная, которая в каждой занюханной поликлинике, а вторая — заковыристая. На ней не буквы, а баранки такие с выемками, и надо отвечать, где выемка, снизу, сверху, справа или слева. Я как глянул, а там самая верхняя строка не шэ-бэ, а два надкусанных бублика, один слева надкусан, другой — справа. Две первые строки я ещё хорошо вижу, третью сверху уже с трудом, четвёртую с большим сомнением, а ниже совсем труба. Мне говорят: “Смотрите на третью строчку снизу и называйте, где в кольцах проёмы”. Я ещё на дурика пытаюсь угадать: “Снизу, сверху, слева, опять снизу, справа”. Вдруг повезёт! Хренушки, всё неправильно. “Пятую снизу”. Опять на дурика пытаюсь угадать, и опять в молоко. Капец тебе, Юрий! Если пятую снизу не видишь, это уже точно забракровка. А они ещё издеваются, говорят: “Хотя бы четвёртую сверху можете распознать?” А я уж тут тоже с издёвочкой: “Бэ-ы-нэ-кэ-мэ!” Они ржут, ясный перец, что я не ту таблицу вызубрил. Предлагают идти в авиамеханики. Но я заартачился. Какое, если я небом грезил! Так меня эти надкусанные баранки неба лишили. И в итоге оказался я за баранкой.

Помню, когда он мне это рассказал, то очень сильно огорчился, я впервые видел его невесёлым, поникшим. Он рулил, глядя с тоскою на дорогу, и мне захотелось его утешить.

— А знаешь, пап, я в детстве очень любил песню “Крепче за баранку держись, шофёр!” И всегда, когда её слушал, то о тебе вспоминал.

— Ври больше!

— Да почему ври-то? Честное слово!

— Приятно.

— И ещё, пап... Давно хотел у тебя попросить прощения...

— Вот те нате, хрен в томате! Это ещё за что?

— Помнишь, я тогда не пустил тебя? Сказал, что у меня уже есть папка.

— Смутно, смутно...

— И ещё папку для тетрадей тебе предъявил, сволочь.

— Да, это ты тогда остроумно придумал.

— Меня тогда мама сильно отругала за это.

— Нинка? — Отец улыбнулся. Его явно отвлекло от тяжкого воспоминания — и то, что я песню про баранку любил, и что каюсь, и что Нинка отругала наглого сыняру.

— Прости, отец.

— Ладно уж, прощаю. И хватит тут прости-процаи устраивать. Я тоже перед тобой виноват, что ты рос без отца. Сейчас только и подружились мы с тобой, когда Нины не стало...

Удивительно то, что когда мама заболела, её положили лечить в знаменитый центр на Каширке, и заведующей отделением, в котором мама лежала, оказалась не кто иная, как одна из сестёр-близняшек, за которыми накануне знакомства с мамой ухлёстывал отец. В молодости они обе были баскетболистками, но если Нина сделала звонкую спортивную карьеру, а затем стала и знаменитым спортивным телекомментатором, то её сестра Люся пошла по медицинской стезе, стала крупным онкологом в крупнейшем центре Блохина. Вот как причудливо порою сводит людей судьба!

Маму хоронили летом и, как нарочно, в день рождения моего отца. Не думаю, что она так отомстила ему. Во время поминок мы с отцом вышли во двор, и он сказал:

— Если бы ты знал, какая у нас была с Нинкой любовь! Жаль, что всё так получилось. Давай теперь хотя бы друг друга держаться. Договорились?

— Договорились.

Так мы стали дружить с ним, когда мне уже исполнилось двадцать че-

тыре года. К тому времени он развёлся и со второй женой, жил в Бирюлёво в однокомнатной квартире вместе со своей мамой, моей бабушкой Софьей Афанасьевной, которую я очень не любил. Я знал, что когда отец повстречал мою маму, бабушка была против этого брака, считала, что её Юрочка станет знаменитым артистом и найдёт себе кого-нибудь получше. А я для неё был неким *незаконным формированием*.

— Конечно ж, куда ж нам, мы сиволапые, — говаривала моя другая бабушка, Клавдия Фёдоровна. — Мы мятро строим, на заводах работаем, в прислугах у богатой сволочи не гнём спину.

Софья Афанасьевна и впрямь работала прислугой у разных московских вельмож, некоторое время даже у одного знаменитого писателя. Этот инженер человеческих душ в двадцатые годы предсказал ядерную бомбу и бомбёжку Хиросимы, во время войны призывал кастрировать немцев, а затем придумал название для целой эпохи советской истории — “хрущёвская оттепель”. Но моя бабушка Софья Афанасьевна на все эти заслуги закрывала глаза, поскольку в её памяти он остался деспотом, который относился к своей многочисленной прислуге, как барин к крепостным крестьянам.

— Только что не продавал нас другим таким же помещикам, — говаривала она.

Впрочем, бабушке по отцу я никак не сочувствовал, потому что она всегда была какая-то нелюбезная, ей всё не нравились. Подождёт губки и смотрит с презрением, хоть ты ей сын, хоть ты ей внук, хоть ты ей Генеральный секретарь ЦК КПСС. Включит телевизор, увидит Брежнева — её и от него воротит:

— Блям Блямыч! В магазинах жрать нечего, а он всё “блям-блям”.

Отец станет что-нибудь рассказывать, ей опять тошно:

— Ты, Юрка, типичный Блям Блямыч. Нет бы всё по-серьёзному, а ты всё “блям-блям, блям-блям”!

Муж Софьи Афанасьевны, мой дед по отцу Лука Елифанович, всю жизнь её терпел. В молодости он работал в НКВД, потом ушёл из органов по собственному желанию и более значительную часть жизни работал краснодеревщиком. Первая моя хоккейная клюшка была сделана для меня им собственноручно. После смерти Сталина он по собственному желанию вышел из партии, и никто его за это не покарал. Какие у них с Софьей Афанасьевной были отношения, я не знаю. Могу судить лишь по одному моему наблюдению. Перебирая альбомы с фотографиями, я заметил, что в тридцатые и сороковые годы, фотографируясь на общих санаторных снимках в каких-нибудь Гаграх или Пицундах, они стоят рядом. В пятидесятые — порознь, а в шестидесятые — и вовсе в разных концах фотографий. К старости Луку Елифановича стали мучить нестерпимые головные боли, от которых он пытался спастись на балконе, стоя там на свежем воздухе. И однажды он с балкона упал. Возможно, случайно. А быть может, подобно тому, как он ушёл из органов, а затем из партии, точно так же он ушёл и из жизни — по собственному желанию. Хотя не хотелось бы в это верить.

— Это Сонька его довела, — говорила моя бабушка Клавдия Фёдоровна. — Она всегда ему, бывало: “Помалкивай! — да — Помалкивай!” Как будто мужики для того и нужны, чтобы помалкивать. Хотя, греха на душу брать не хочу, может, он и нечаянно свалился.

Сама же Софья Афанасьевна покинула сей мир весьма своеобразно, и её уход, наконец, заставил меня если и не полюбить отцову мамашу, то хотя бы зауважать её.

Она славилась своими изумительными пирожками с капустой. И вот однажды, хотя никакого праздника не предвиделось, она вдруг затеяла печь эти пирожки. И напекла их чуть ли не тысячу! Разложила по всей квартире, выключила духовку, прилегла на диванчик и тихо скончалась. Когда люди пришли на поминки, ели пирожки и нахваливали.

— Прямо во рту тают!

— А кто напёк-то?

— Да сама покойница и напекла.

Вот так. Сама свои собственные поминки пирожками обеспечила. Это поступок!

На похоронах бабушки я заново познакомился со своей сестрой Светой. То есть в детстве мы несколько раз с ней знакомились, потом лет двадцать не виделись, и вот — увиделись уже взрослыми.

— Эх, бабулечка-красотулечка, — вздыхала Света, но без трагизма, а так, будто Софья Афанасьевна не умерла — просто случайно провалилась в люк канализации, из которого её нужно извлекать, претерпевая трудности. Да, собственно, никто особо и не рыдал, включая моего отца, который весело вспоминал, как она их обоих с Брежневым именovala Блям-Блямычами. Он поднапился и, забывшись, даже принялся было напевать:

— *Дует-дует ветерок...* — но вовремя спохватился.

Кстати, я, между прочим, настоял, чтобы Софью Афанасьевну отпели, и отец охотно согласился, хотя никогда особо не проявлял любви к Церкви. Единственно, что у него на передней панели в его “Жигулёнке” была прикреплена иконка Николая Угодника рядом с медалями, которыми моего Лукича награждали на соревнованиях лучших водителей столицы. Отпевание проходило в храме на Соколе, и отец тогда проникся, сказал мне “спасибо”.

Потом мы ещё больше задружились, часто вместе смотрели футбол, особенно матчи чемпионатов мира и Европы.

Лето 1986 года, Мехико оочента и сейс, наша блистательная сборная, которая в первом этапе разгромила венгров 6:0, легко обыграла канадцев 2:0, сыграла вничью с французами 1:1 и заняла первое место в группе, но в одной восьмой финала трагически и несправедливо проиграла 3:4 бельгийцам... Великолепный финал того чемпионата, в котором марадоновцы Карлоса Билардо со счётом 3:2 обыграли немцев Франца Беккенбауэра, мы с отцом пылко смотрели вместе на даче у его тогдашней подруги.

Эта сильная женщина была вдовой полковника, но отец звал её Генеральшей. Она отличалась радушием, теплом и одновременно властностью. То есть любила угостить, охотно выпивала с нами, хохотала, подпевала, но при том употребляла приказные формы общения:

— Марш за стол! Ешь без разговоров! Нали-и-вай! Анекдота хочу. Что значит “наелся”? Отставить! Вон, сколько всего наготовлено. Нали-и-и-вай! Эх, хорошо! Ну, скажите же, что хорошо! Песню! Лукич, немедленно скажи, что любишь!

Отцу тогда исполнилось пятьдесят четыре года. С Генеральшей ему было и хорошо, и страшновато. Она мяла его в лапах своей бешеной любви, перебрасывая с ладони на ладонь, как только что вынутый из лузы бильярдный шар. Он, как ребёнок, которого щекочут — и смеётся, и боится щекотки, и хочется удрать, и хочется, чтобы ещё пощекотали. Полагаю, с ней он был бурно счастлив, как пленник, сбежавший на углу судёнышке от своих поработителей и попавший в бушующее море, в котором вот-вот погибнет.

Я видел, что их счастье не может продолжаться долго, что произойдёт некая трагическая или комическая развязка. И не ошибся. Развязка оказалась одновременно и трагической, и комической.

С отцом долгие годы дружила хорошая, тихая и скромная женщина Люся, чем-то даже похожая на мою маму. Она не ладила с мужем, но имея верный нрав, стойко не изменяла ему. И в тот роковой день, как уверял меня отец, между ними тоже ничего не было, но зачем-то — шут его знает, зачем! — Юрий Лукич привёз Люсю на дачу к Генеральше.

Хотя, погодите, если уж на то пошло, у отца был день рождения, а Генеральша ни с того, ни с сего:

— Сестру давно не видела. По сестре соскучилась. Съезжу-ка к ней в Волгоград.

И уехала. Отец обиделся. Что, нельзя было в другой день по сестре соскучиться? Конечно, обидно.

Так получилось, что никто, кроме Люси, на тот день рождения не смог приехать. Я был в отъезде, Света тоже, и друзья не смогли. Вечером Генеральша, которая, конечно же, ни в какой Волгоград не уехала, а по своей ревнивой дурости ронсила Лукича проверить, подкралась, заглянула в окно и увидела, что он сидит вдвоём с Люсей за столом, они выпивают и весьма оживлённо беседуют.

От ревности Генеральшу потянуло на подвиг во имя любви, пусть даже на подвиг со знаком минус. Она тихонько заперла дверь снаружи, облила со всех сторон дом бензином и подожгла.

Дом вспыхнул, как её ревнивое сердце. Но из Лукича не получилось Джордано Бруно, а из Люси — Жанны д'Арк. Мой отец высадил окно, выскочил наружу и, пока Генеральша лупила его по спине черенком от лопаты, помог выбраться Люсе. Далее они вдвоём тушили пожар, а Генеральша упала на грядки и рыдала:

— Гори всё пропадом! Изменщик! Не нужна мне такая любовь!

Прибежали соседи, помогли потушить пожар. Лукич и Люся прыгнули в “Жигулёнок” и — *дует-дует ветерок, ветерок, ветерок, поддувает ветерок, ветерок, да!*

— Поверишь, Санёк, впервые в жизни я из-за этой ревнивой фурии пьяным за руль сел.

Отец действительно никогда не водил машину, если выпьет хотя бы пол-стакана пива, не говоря уж о более значительных дозах алкоголя. Это тоже стало одной из составляющих общей обиды на Генеральшу. Первое: у него с Люсей ничего не было и не намечалось даже. Второе: Генеральша сама уехала в Волгоград в день его рождения. Третье, а по-моему мнению, первое: поджигать живых людей — это как, по-вашему? Четвёртое: а если бы они спали? Пятое: Люся после того случая с ним перестала дружить. Шестое: пьяное вождение...

— А прикинь, если б я человека сбил ко всему прочему? Ну, и денёк вышал! Вот так отметил я свои две пятёрочки!

Генеральша стала отца преследовать, уговаривая всё забыть и начать любовь с начала. Но мой отец, в общем-то, человек отходчивый, тут проявил стойкость и упрямство накрепко обиженного индивидуума.

— Нет, Санёчек, даже и не думай. Любовь у нас была сильная, не скрою. Но мохнатая. Я знал, что добром не кончится. Генеральша — она и есть Генеральша. Ей тысячу солдат на верную смерть послать — *параллюи*. Я и жил с ней, как будто под огнём из *сотен тысяч батарей, за нашу Родину, огонь, огонь!* Вот огнём всё и обернулось. Ты только представь, как всё вспыхнуло, как я дверь рванул — она заперта снаружи, а в окнах — её рожжа беснующаяся. Я в окно, а она меня — лопатой по спине, да со всей силы. Пока Люську вытаскивал, раз двадцать меня прилопатила. Хорошо, не самой лопатой, а только черенком. Страшнейшее воспоминание моей жизни. Как будто в огненном Сталинграде побывал.

Видя, что Лукич возврата любви не ищет, Генеральша совсем оборзела: подала на него в суд, будто это он её дом подпалил. Выручило то, что с соседями у неё за долгие годы не сложились тёплые и дружеские отношения, Генеральше почему-то нравилось пальнуть в них матерной шрапнелью, и сияющей радости от такого соседства они не испытывали. Все подтвердили, что гражданин сожигатель находился внутри дома со своей доброй знакомой, а гражданка владелица дачи подкралась тайком и стала виновницей возгорания.

— Представляешь, Сашок, сколько я позора натерпелся! Хуже всего, что Люсю пришлось таскать на эти суды в качестве свидетельницы. Муж обо всём узнал. Попробуй ему, болвану, докажи, что у нас ничего такого не вертелось. Так только, лёгкий ветерок невинной случайности. Ну, клянусь! Не веришь, что ли?

— Да верю, верю! Ты ж от меня про остальные похождения не скрывал. Поэтому верю, что с Люсей ничего такого.

— Ну, спасибо, коли так. Ты верь мне. Что мне тебя обманывать-то? Ты же взрослый мужик.

— И что же Люсин муж?

— С ружьём ко мне завалился.

— Да ну!

— Ага! Навёл на меня два ствола и говорит: “Ешь землю, что у нас с Люськой ничего не было!” Я ему: “Где же мне взять землю в городской квартире?” “Где хочешь!” — говорит. У меня и горшков с цветами после смерти матери не осталось. “Давай, — говорю, — к соседям схожу, к Поры-

вайкам, возьму у них земли”. — “А что им скажешь?” — “Так и скажу, что захотелось, мол, землицы пожрать. Давно не ел её, родную”. — “Сволочь ты!” — говорит. И уже из ружья не целится. Короче, я достал пузырёк, сели мы и весь вечер пили, разговаривали, плакали, как последние Достоевские. Я ему сто раз клялся, что Люся чиста перед ним. “Богом клянись!” Богом клянусь. “Здоровьем клянись!” *Параплюи*, здоровьем клянусь — на черта оно мне! “Сталиным клянись!” — вот до чего дошло. Сталиным клянусь. И вдруг слышу, шаги. Сталин идёт! У меня аж мороз по коже. Богу-то всё равно, что Его именем клянутся. Здоровье тоже от других факторов зависит. А товарищ Сталин возьмёт и обидится.

— Пришёл?

— Нет, померещилось. Пугнул только шагами своими тяжёлыми. А утром этот Славик проснулся и спрашивает меня: “Ты кто?” И уходит такой недоверчивый, что я решил: точняк, вечером обратно с ружьём зайвится: “Клянись!” Но с тех пор уже два месяца прошло, не являлся. Люсе я звонил, звонил, наконец, дозвонился. “Давайте, — говорит, — Юрий Лукич, мы на этом наше знакомство завершим”. — “Ладно, — говорю, — я не против, желаю счастья! Ты только скажи, Славик успокоился?” — “А вот это уже наше личное семейное дело”. Но думаю, успокоился, иначе бы опять пришлось с ним водку пить.

Вообще-то водку мой отец не любил. Предпочитал сладенькое. Когда Лукича не стало, на балконе у него я обнаружил роту пустых бутылок средней лёгкости вооружения — портвешок, мадерка, херес, наливочки, настоечки, сладкое токайское и всё в таком духе. Водочных только две-три, не более. Да штук пять из-под коньяка. Прочее же такое, что покойный муж Генеральши определил бы как дамское.

После пожара отец стал стареть. Мы ещё смотрели с ним вместе чемпионат Европы, на котором наша сборная вновь блистала — да ещё как! — в групповом турнире обыграла 1:0 голландцев, 3:1 англичан, сыграла вничью с ирландцами, заняла первое место в группе, в полуфинале 2:0 выиграла у итальянцев, дошла до финала и могла стать чемпионом континента, если бы не два великолепных и безответных гола Рууда Гуллита и Марко ван Бастена.

Мы все матчи смотрели вместе, на сей раз на даче у его школьного друга Пономаренко.

Именно Пономаренко открыл мне страшную тайну моего отца. Семейную тайну. Связана она с весьма посредственным, на мой взгляд, французским писателем Альфонсом Доде.

С детства я знал, что ударение в моей фамилии ставится на втором слоге. Именно в таком виде фамилию моего отца продолжала носить после развода и моя мама. До самой своей кончины она не знала, что на самом деле ударение должно ставиться на первый слог. И это немудрено, поскольку слово “сегень” — венгерского происхождения, а в венгерском языке ударение фиксированное и всегда падает на первый слог, каким бы длинным ни было слово, даже если оно состоит из сорока четырёх букв. А такое в мадьярском языке имеется и внесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное слово на всём белом свете. Звучит оно так:

megszentsegtelenithetetlensegeskedeseitekert.

Подсчитайте — ровно сорок четыре буквы! Несмотря на то, что это одно слово, переводится оно следующим образом: “по причине вашей стойкой неоскверняемости”. Весёлый народ венгры! Вот уж где *дует-дует ветерок!* Попробуй, прочти этот длиннющий словешник сходу, да ещё и сделай ударение на первый слог. А для них это *параплюи*.

Так вот, поскольку дед моего деда Луки Епифановича имел венгерское происхождение, слово “szegeny”, которое по-русски читается как “сегень”, тоже обязано нести своё ударение, как знамя, — в первом ряду, а не арьергарде. И мой отец, как и его родители, до какого-то класса школы соответствовал общемадьярскому правилу. Но во время одного из уроков французского языка читалось произведение Альфонса Доде “Козочка господина Сегена”, довольно заурядное сочинение, как почти всё у этого автора. Мсье Сеген любил разводить козочек, но они у него скучали. Видно, он сам был скучный.

Особенно он любил козочку по имени Бланкетт, но и она удрала от его в горы, где её использовал волк в качестве завтрака, обеда и ужина. С той поры приятели в шутку стали звать моего отца “мсье Сеген” с ударением на второй слог, ибо у французов, как и у венгров, тоже фиксированное ударение, но они-то как раз своё знамя всегда несут в последнем ряду.

— И тут, — рассказывал Пономаренко, — Юрке понравилось быть французом. Окончив школу, он далее всюду представлялся как Сеген, с ударением на последнем слог.

— Ну, как же так, папа? — спрашивал я своего Лукича. — Как ты мог взять и изменить фамилию?

— Да *параллюи*! А что такого-то?

— Слушай, а кроме *параллюи* ты какое-нибудь ещё слово вынес из уроков французского?

— Само собой. Бонжур, полный бонжур, комансава, савабьен, комси-комса, о-ля-ля!

— Сам ты полный бонжур, комси-комса, о-ля-ля! — ржал я над своим бесшабашным родителем.

Узнав страшную фамильную тайну, я восстановил справедливость и переставил ударение в своей фамилии в авангардный ряд, к чему призывал и отца, ибо и его отец Лука Епифанович, и его дед Епифан Степанович, и его прадед Степан Степанович (в скобках — Иштванович) несли своё ударение гордо впереди, но Лукич так до конца своих дней и остался мсье Сегеном, от которого ушли все козочки, хотя им с ним и не было скучно, а даже наоборот, чересчур весело.

На итальянском чемпионате мира наша сборная уже не блистала, продула румынам и аргентинцам, и даже выиграв 4:0 у камерунцев, заняла в группе последнее место. Наш футбол словно состарился вместе с моим отцом. На шведском чемпионате Европы играла не сборная СССР, а сборная некоего СНГ под капитулянтским белым флагом с надписью на латинице “С.I.S.”, которую отец остроумно перевёл как “ЦЫЦ!” И эта бледная “ЦЫЦ”, играя в какой-то чахлый и скучный футбол, продула 0:3 шотландцам, сыграла вничью с немцами и голландцами и заняла последнее место в группе.

Начало девяностых для Лукича стало последним и самым неудачным периодом жизни. Впервые в шофёрской судьбе он попал в аварию и сразу ушёл из такси, потому что считал, что если таксист попадает в аварии, это уже не таксист.

Отец устроился работать водителем в Музфонд, возил разных музыкантов, композиторов и зачем-то нахамил одному автору более двухсот песен только ради того, чтобы обыграть его фамилию, как отцу казалось, весьма остроумно. Он сказал ему:

— Мне ваша музыка не нравится.

— Отчего же? — спросил композитор.

— Она какая-то аедонизменная.

Я сказал:

— Тебе кажется, это смешно?

— А разве нет?

— По-моему, нет.

— Но меня не только за это выгнали...

Короче, он опять попал в аварию. Его заставили пройти медкомиссию и уволили, признав слишком близоруким.

Вскоре он попал в аварию и на своём старом задрипанном “Жигулёнке”, который притащили во двор его дома и там оставили. Зимой отец с восторгом показывал мне созданную на базе этого автомобиля ледяную горку, с которой дети охотно съезжали, и это можно было наблюдать с балкона.

В последний год Юрий Лукич работал водителем в одной канадской фирме — развозил клиентам жалюзи.

— Кстати, знаешь, что такое по-французски “жалюзи”? — спрашивал он меня.

— Знаю, конечно, — “ревность”.

— Всё-то ты знаешь, Санёк! Такой умный, тебе самому с собой не страшно?

— Страшно.

— Всю жизнь меня преследовала бабская ревность, — философствовал родитель. — А теперь я её развожу по всей Москве. Помнишь, песня такая была: “Ма жалюзи, парайра-парарайра...”?

— Не было такой песни.

— Возможно, и не было.

Летом своего последнего года жизни отец получил от жалюзишной фирмы хорошую премию. Причём заведующий российским филиалом сказал ему:

— И вставьте себе на эти деньги зубы. Давно пора, Юрий Лукич.

— Я как раз собирался это сделать, — ответил мой отец и купил себе новый телевизор, потому что старый у него сошёл со своей карусели, а на земной шар наваливался очередной чемпионат мира по футболу, проходивший в США.

— Приезжай ко мне, будем смотреть матчи на моём новейшем и суперсовременном телеке, — зывал меня Лукич.

Но нам так и не удалось вместе посмотреть этот *mundial*, потому что отец внезапно во сне попал в свою последнюю аварию и не проснулся. Соседи обнаружили его на пятый день.

— Что-то не видать и не видать нашего Лукича. Он обычно непременно захаживал раз в два-три дня. То селёдку принесёт собственного приготовления, то капустой квашеной заглянет угостить, то ещё чего. А тут нет и нет его. Дверь у Лукича никогда не закрывалась... Заглянули к нему, а он лежит под одеялом и уже почернел. Жара, а окна-то настезжь...

Дверь своей квартиры в Бирилёво отец и впрямь никогда не закрывал. Во-первых, потому что у него и украсть-то особенно было нечего. А во-вторых, он говорил:

— Мечтаю о тех временах, когда люди перестанут запирают свои двери, потому что не от кого им будет их запирают. Так пусть же эти времена настанут пока в одной отдельно взятой квартире. Моей.

Эта его мечта позволила соседям беспрепятственно проникнуть к нему и обнаружить тело. Мне позвонил Пономаренко:

— Мужайся, Саша, твой отец Юрий Лукич мёртв.

Вот уж совсем неподходящее слово! Точнее всего было сказать: сошёл со своей карусели.

Я примчался и увидел его. Лицо было тёмным, но не очень, а тело под одеялом и врянь оказалось сильно почерневшим.

Но что удивительно: он слегка улыбался. Будто не умер, а призащнул и во сне напевает:

— До чего же хорошо кругом!..

Квартира в Бирилёво досталась сестре Свете, потому что у неё были проблемы с жильём, а я жил в фамильной метростроевской хрущёвке. Света отцову квартиру сразу же продала, потому что боялась покойников и всего, что с ними связано. Она не была на похоронах своей бабулечки-красотулечки, только на поминках. На похороны отца тоже не смогла приехать и даже на поминки. И потом ни разу не спросила у меня, где и как отец похоронен.

Отцово имущество мы поделили по справедливости. Сестре — квартира, мне — альбомы с фотографиями и тело отца, которое я и похоронил. Ещё Света сказала:

— Можешь и его автомобиль себе взять.

То есть ржавый корпус, зимой превращавшийся в ледяную горку. Но я оставил его во дворе. Думаю, потом его свезли благополучно на металлолом.

За несколько лет до отцовской кончины я подарил ему журнал “Юность” с первой своей публикацией. Надписал так: “Дорогому отцу — первый литературный писк сына”. Он через пару дней поделился со мной итогами прочтения:

— Хороший рассказ. Живой такой, яркий. Образы превосходные. Язык такой изумительный.

— Спасибо, отец!

— Это я не про твой, а про тот рассказ, что сразу за твоим напечатан.

— А мой?!

— Тоже ничего. Пиши, Санёк. Со временем и у тебя станет получаться.

Я тогда бешено обиделся. Вообще не хотел с ним больше дружить. Но остыл и подумал, что мой Лукич в своём репертуаре. Хочет проявить отцовскую строгость.

А когда отца увезли навсегда из его дома, я стал убирать его постель и под подушкой обнаружил не что иное, как тот самый экземпляр “Юности” с моим первым напечатанным рассказом...

Мы так и не знаем, куда уходим, сколько бы ни гадали и ни предсказывали провидицы. Но куда-то уходим точно. И где-то ходим. Где-то мы есть потом. И с кем-то. Кто нам дорог. Душа моего отца — ветерок, блуждающий по миру.

И порою, когда лёгкий весенний или летний ветерок дует мне внезапно и весело в лицо, я знаю, что это именно он.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК

Наташа и Саша, возвращаясь в четверг с работы из Москвы, внезапно и сильно разругались. Муж неудачно пошутил, а жена обиделась.

— Не смей со мной даже в одной электричке ехать! — в запальчивости заявила Наташа перед входом в третий вагон от хвоста.

Саша замер на некоторое время, но, поразмыслив, что следующая электричка в Белкине не останавливается, а другая пойдёт только через тридцать минут, быстро дошагал до головного вагона и успел в него впрыгнуть перед самым захлопыванием дверей. Тут он купил банку пива у торговца-разносчика и, наконец, ответил жене:

— Ну, и пожалуйста!

Пару остановок он простоял, потягивая пиво и глядя в окно тамбура, но вскоре соскучился по Наташе и побрел по электричке от головы к хвосту. Входя в очередной вагон, Саша осторожно протыкал его взглядом, дабы не напороться на обиженную жену, но она как вошла на вокзал в третий от конца, так в нём и стояла. Возле схемы движения пригородных поездов. Прислонившись к окну и глядя в него.

Саша затаился в тамбуре и допил пиво. Напиток малость развеселил его, и в голове стала искрить мысль о дерзкой и задорной выходке. Как только электричка остановилась на станции Радужной, Саша выскочил на платформу, подбежал к окну, за которым стояла Наташа, и приложился к стеклу поцелуем, почти понав в десяточку — метил туда, где губы, а попал туда, где нос.

— Сашка, ты дурак, что ли? Немедленно вернись в вагон! — воскликнула с той стороны стекла Наташа, но с платформы голос её не имел ни малейшего звучания, и фразу: “Сашка, ты дурак, что ли?” — муж по губам прочитал так: “Сашка, я люблю тебя”, — а приказ вернуться и вовсе не расшифровал. Но вернуться он успел, электричка тронулась дальше, он протиснулся через тесноту тамбура внутрь вагона и с удивлением услышал от жены:

— Не смей ко мне приближаться! Я кричу, что знать тебя не знаю, а ты — маньяк и ко мне пристаешь.

Огорчённый муж почесал затылок и разобиженно отправился обратно в головной вагон состава.

Выйдя в Белкине, Саша дождался Наташу, но она гордо прошла мимо, из чего он заключил, что слова, произнесённые им в Москве и ставшие причиной ссоры, и впрямь не имели никакой ценности в качестве шутки.

От станции до Новобелкина, в котором проживали супруги, пролегал прекрасная дорожка мимо дач новых русских, через лесок, вниз к реке Сны-

ри, некогда полноводной, а ныне весьма скромной, потом вверх на пригорок, а там уже и рукой подать до дома.

Саша шёл в отдалении шагах примерно в ста от Наташи и всё ждал, когда она обернётся, простит его, и они радостно, как обычно, вернутся домой. Но жена шла не оборачиваясь и даже приветливо улыбнулась какому-то мужику, который прошёл мимо и что-то внаглую ей сказал. Счастье того мужика, что он не поперся за ней следом, потому что кулаки у Саши были всегда готовы к торпедированию наглых морд.

То, что жена не оборачивалась и не прощала его, стало Сашу бесить. Но глядя на плывущую впереди Наташину стройную фигурку в элегантном пальто нежно-малинового цвета, на кудрявую черноволосую, слегка вздернутую головку, на женственную пленительную походку, муж не мог не восхищаться: “Всё-таки до чего ж хороша!”

Саша был не чужд поэзии, и однажды летом, когда они ещё только-только поженились и почти так же, как сегодня, поссорились, он сочинил целую поэму, впрочем, состоящую всего из двух строк:

*И пошла она, попой виляя,
Мое сердце и взор пленяя.*

Тогда поэма сыграла свою роль в примирении, но дважды в один поток не войдёшь, и надо было придумать новый ход. Видали? С поцелуем-то через окно электрички не выгорело!..

Так в горестных раздумьях, смешанных с восхищением собственной женой, Саша дошёл до пригорка, с которого начинался спуск к реке. Слева всё ещё зеленел, несмотря на осень, луг, на котором летом они здорово веселились, устроив пикник с Лихачёвыми и Дьяковыми. Внизу шумела мутная Снырь, вновь после обильных дождей вспомнив свою полноводную молодость.

Взойдя на пригорок, Саша остановился, увидев, как жена вдруг резко развернулась на мостике через реку. Всем своим видом — руки в карманах пальто — Наташа показывала, что готова к разговору. Но тут Саша понял, что ещё не избрал инструмента к новому примирению, и стоял как вкопанный, глядя на свою красавицу. Ещё он думал: “В конце концов, у нас тоже кое-какая гордость имеется!” Так и стоял, глядя то на Наташу, то на большой белый крест у реки, особо выделяющийся среди сумерек. Там в Снырь впадал источник, считающийся в народе святым. Есть сведения, что некогда здесь обретался отшельник Исихий Тихий, благодаря молитвам которого воды источника и впрямь стали необыкновенно чистыми и вкусными. Даже целебными. Может, и впрямь святыми, Бог его знает!..

Изобретение родилось внезапно.

— Девушка, — обратился Саша к проходящей мимо женщине лет сорока. — Простите, не могли бы вы сказать вон той девушке в малиновом пальто, что я её люблю?

— Что-что?.. Хорошо, скажу, — мигом откликнулась прохожая и поспешила вниз к реке.

Саше стало гораздо веселее. И он цапнул за локоть пробегающего мимо паренька:

— Слушай, браток! Видишь ту прекрасную девушку в малиновом пальто?

— Ну, и?

— Будь человеком, скажи ей, что я её люблю.

— Чего? Ещё чего! — вырвался паренёк и сердито зашагал вниз.

Не беда: Саша уже видел, что первая прохожая выполнила его просьбу и что-то сказала Наташе. Он стал прицеливаться к очередному гонцу, как вдруг проходящий мимо него мужик, поднявшийся от реки, буркнул:

— Слышь, там тебе велено передать, что любят.

— Чего? Кого?

Но мужик уже почесал дальше, как видно, спеша на электричку.

Саша подловил девчонку лет семнадцати, набирающую на ходу номер на мобильнике:

— Простите, будьте так добры, вопрос жизни и смерти! Передайте той девушке у моста, которая в малиновом пальто, что я её очень люблю.

Девчонка даже не удостоила его взглядом. Она набрала нужный номер и стала на ходу говорить с подружкой:

— Алка! Атас, полный атас! Предки нас с Игоряном застучали. А Игорян такой полуголый... А я такая ва-а-ще, вся помада размазана... Кстати, вас любят, — почти равнодушным тоном буркнула она стоящей у моста Наташе и засеменила дальше. — А предки такие и говорят...

Наташа рассмеялась и застопорила очередную жертву. Это был мужлан так мужлан. На её просьбу он гоготнул:

— А может, ещё чего передать? Могу деньги отнести, если надо.

— Нет, только про любовь.

— Любовь, любовь... Ну, ладно. А может, за это телефончик дашь?

— Идите, можете ничего не передавать!

— А мне-то больно надо! — рассердился мужлан и зашагал на пригорочек. — Была охота! Нашли себе почту!

Но проходя мимо стоящего на пригорочке Саша, мужлан рыкнул на него: — Ты, что ль, муж той? Говорит, любит тебя, барана!

А Саша уже ловил нового гонца. Так они стояли и слали этих гонцов ещё минут пять, покуда не кинулись навстречу друг другу, побежали: он — сверху вниз, она — снизу вверх. И сшиблись, как при лобовом столкновении, врезались друг в друга долгим и страстным поцелуем.

— Пить хочу, Сашка, не могу, как! — сказала жена, когда поцелуй, казавшийся вечным, всё же окончился.

— Я тоже, — задыхаясь, вымолвил муж. — Пошли к источнику!

— Пошли. Люблю тебя, дурака, знаешь, как!

Они спустились к источнику Исихия Тихого, Саша снял с гвоздика алюминиевую кружку, протянул её жене. Она сделала глоток и вернула. Так они и пили чистую, холодную и целебную воду по глоточку, передавая кружку друг другу.

Потом Наташа и Саша медленно шли к своему дому, тесно обнявшись.

— А здорово я придумал гонца к тебе послать, — произнёс, наконец, муж.

— Чего? Ты? Да это я первая!

— Ну, да! Я первый!

— Сашка! Счас опять поссоримся! Я первая послала к тебе того прилизанного мужичонку.

— Да нет же, это я первый придумал...

— Ну, Саша!

— Говоришь, ты первая? Ладно уж, будь по-твоему: ты.

— Ещё скажи, что ты первый побежал ко мне.

— А разве не так?

— По-моему, я первая. Хотя, быть может, мы одновременно.

— Конечно, одновременно!

— Давай никогда больше не ссориться.

— Давай.

— Проси прощения за ту глупую шутку!

На другое утро, идя к электричке, они вспоминали вчерашнее. Наташа щебетала:

— А я стою и мимо меня так и проносятся с извещениями: “Там вас любят”, “Ваш муж вас любит”, “Мужик в чёрном плаще говорит, что ва-а-а-ще-то любит вас”. А одна по телефону разговаривала и вдруг вспомнила: “Кстати, вас любят”.

— А хороший всё-таки народ у нас, скажи, Наташка! А я, честно говоря, думал, он хуже.

А вот уже и Снырь. Сегодня она была освещена ярким и радостным солнцем. Крест над источником, вчера такой белый в сумерках, теперь сиял золотом. Наташа и Саша прошли по мостику, остановились.

— Наша экскурсия подошла к тому месту, где в ноябре 2012 года будущая царица Наталья пребывала в великом стоянии, а её супруг боярин Алек-

сандр находился вон на том пригорочке, вон у того столба, — голосом экскурсовода заговорила Наташа. — Стояние длилось о-очень долго, и они слали друг другу гонцов, которые сообщали Наталье, что Александр любит её, а Александру — что Наталья любит его. Потом боярин Александр сочинил поэму, которая начиналась словами...

— Как стояли мы на пригорочке... — начал Саша, но никак не мог придумать дальше, и уже когда они поднялись от реки наверх, Наташа сама до-сочинила:

— *Как стояли мы на пригорочке,
И любви починили рессорочки...*

САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ УБИЙСТВА

Отец Афанасий не поверил своим ушам...

Шла обычная исповедь. Одни старушки пытались доказать ему, что они совершенно безгрешны, а во всём виноваты зятья, мужа и родные сестры. Другие, напротив, уверяли, что грешнее их нет никого на белом свете. Одна принесла с собой, как обычно, свою греховную тетрадь, в которую ежедневно вписывала вереницы своих прегрешений, включая даже такие, как убийство мыши во сне с особой ненавистью. Мужчины вели себя, как всегда, сдержаннее, не рыдали, не били себя в грудь, не сваливали вину на жен и детей.

И вдруг этот незнакомец...

— Отец... Не знаю, как обращаться к тебе...

— Отец Афанасий.

— Отец Афанасий, благослови на убийство.

Вот тут-то ушам и не поверилось.

— Не расслышал. На что благословить?

— На убийство.

И при этом так спокойно, даже с достоинством. С вызовом? Священник пригляделся. Нет, без вызова. Перед произнесением просьбы благословить на убийство человек каялся, что имеет недостаток в любви ко всем людям, а иных даже вовсе ненавидит. Но ведь каялся...

— На охоту собрались? — вдруг разволновавшись, попытался пошутить отец Афанасий.

— На охоту. На человека охотиться хочу. Благослови.

— Та-ак... Поподробнее нельзя ли?

— Можно. Дело несложное. Жёну мою соблазнил.

Священник ещё раз внимательно взгляделся в него. Лет под сорок человеку, вроде бы и не юноша. Примерно того же возраста, что и сам отец Афанасий.

— А жена где теперь? Надеюсь, не убитая?

— Её я выгнал. У матери своей спасается.

— Убивать не собираешься?

— Это как вопрос решится.

— Стало быть, если войдёшь во вкус, то и её приговоришь... В законном браке пребываете?

— Расписаны.

— Расписаны — это гражданский брак.

— Гражданский, отец Афанасий, это когда так, шаляй-валяй живут.

— Ошибаешься. Когда шаляй-валяй — это просто сожительствоют.

Строже говоря, во грехе живут. А когда только расписаны, а не венчаны, — это гражданский брак.

— Что-то я впервые про такое слышу. По-моему, ты ошибаешься.

— Погоди. Ты расписывался с ней в загсе?

— В загсе.

— Как расшифровывается слово “загс”?

— Это...

— ...запись актов гражданского состояния. Верно?

— Ну, да, верно.

— Значит, ваш брак там определён как гражданское состояние. Это лишь гражданский брак. А законный — это когда в храме Божьем.

— Мне всё равно, я, если бы и венчанные, прогнал бы её. Отец Афанасий, даёшь благословение на убийство?

— Погоди...

— Не надо меня уговаривать, я уже всё решил.

— Зачем же тебе благословение? На меня захотел вину свою?..

— Не знаю... Подумал, что... Понимаю, не дашь благословения?

— А как ты думал!

— Остальные-то грехи отпускаешь мне?

— Остальные — да... Раскаиваешься, что задумывал убийство?

— В этом нет. И не собираюсь. Обойдусь без благословения...

И человек зашагал прочь от священника к выходу из церкви. Отец Афанасий растерялся. Уйдёт! И убьёт! Говорил всё так спокойно, без истерик, взвешенно. Непременно убьёт.

К нему уже подходил на исповедь знакомый прихожанин.

— Игорь, верни этого! Скажи: отец Афанасий просит вернуться.

Тот выполнил просьбу.

— Вот ты говоришь: благословение тебе, — заговорил батюшка, приблизив лицо к лицу замыслившего убийство. — А я не могу тебе его дать без благословения владыки.

— Как это?

— Ну, а как же! — отец Афанасий аж задыхался от своей внезапной придумки. — Надо мной начальство стоит. Епископ. Ты думаешь, я каждый день благословения на убийство раздаю направо и налево?

— Думаю, не каждый.

— Если мне владыка даст добро, я тебе дам благословение. Как тебя зовут?

— Не важно... Евгений.

— Но только владыка сейчас в отъезде по епархии. Можешь подождать неделю? Через неделю приходи, будет принято решение.

— Не думал я, что и у вас тут волокита... А что мне целую неделю делать, если я ночами не сплю, места себе не нахожу? Волком быть?

— Волком не надо. Человеком надо. Молитвы читай. “Молитвослов” есть? Если нету, купи. Или погоди, я тебе свой дам для надёжности.

Всю неделю отец Афанасий сам чуть волком не выл, гадая, придёт или не придёт замысливший убийство. Пришёл. Да к самому началу исповеди. Никогда ещё отец Афанасий столь вдохновенно не начинал общую исповедь, а когда к нему стали подходить под епитрахиль, всё волновался, как сложится разговор сегодня. Вдруг скажет: “Капут, убил уже, не дождался решения твоего владыки”?

— Жив ещё твой обидчик?

— Жив, гадока. Ну, что епископ сказал?

— А ты молитвы читал?

— Читал. Вот он, молитвослов твой, при мне.

— Ну, и как?

— А то я раньше их не читывал... Хотя с твоего “Молитвослова” как-то мне легче читалось. Поначалу помехи были, а потом ничего.

— Вот что я хочу тебе сказать, раб Божий Евгений. Когда император Александр Павлович вступал с войсками во Францию, он сказал: “Я придумал для Наполеона и всех французов самое страшное наказание”. Знаешь, какое?

— Какое?

— Милость. “Они, — говорит, — ждут от нас тех же зверств, какими в наших отеческих пределах обозначились. А мы этих европейских варваров лучше всего накажем тем, что ни грабить не будем, ни убивать, ни насилловать...”

— Так что сказал епископ?

— Не благословил.

— Это и к гадалке можно было не ходить. Зря я только поддался на провокацию.

— Не благословил, но и не сказал окончательное “нет”. Велел спросить, чем ты его убивать собрался.

— Топором, — по-прежнему спокойно ответил убийца.

— Это никак нельзя. Получается, как Раскольников у Достоевского. Нужен оригинальный метод совершения мести. Владыка, скажу по секрету, очень любит детективы. Ему интересно что-то новенькое. Если сможешь изобрести, даст благословение. Только смотри, держи язык за зубами.

— Да ладно тебе душить меня, отец Афанасий! Что я, ребёнок?

— Короче, придумай самый оригинальный способ убийства и приходи через...

— Ещё неделю?

— Как только придумаешь, так и приходи. Только меня три дня не будет. В четверг приходи, вечером. И “Молитвослов” мой читай побольше. Он тебе будет помогать.

В четверг тот человек не пришёл. Отец Афанасий огорчился, но подумал: видать, не изобретён ещё самый оригинальный способ убийства. Но когда Евгений не явился в течение двух недель после второго разговора, батюшка сильно опечалился. К печали примешивались угрызения совести: вон сколько чепухи нагородил! Не приведи Бог, кто узнает про его фантазии, что владыка детективы читает и может дать благословение убийце, если тот придумает новый оригинальный способ убийства! При мысли об этом отца Афанасия окатывало словно бы чим-то горячим дыханием, становилось жарко и тошно.

К концу сентября исполнился месяц с того дня, как Евгений впервые пришёл за благословением. Теперь отец Афанасий уже нисколько не сомневался в том, что раб Божий Евгений свой страшный замысел исполнил. Однажды, проснувшись, он даже отчётливо увидел, как тот душит своего обидчика стальной гитарной струной. “Уж не открылся ли у меня дар ясновидения?” — подумалось священнику.

Весь август и сентябрь шли дожди, а в последние сентябрьские денёчки засияло солнце, и как раз в один из таких дней Евгений вновь явился в храм. Отец Афанасий сразу подметил, что на сей раз он не так зловеще спокоен, а, напротив, взволнован и даже как-то застенчив.

— Здравствуйте, отец Афанасий, — сказал он и подошёл под благословение. Батюшка осенил его крестным знаменем и спросил в самое ухо:

— Надеюсь, не убийцу благословляю?

— Вот жена моя, Надя, — вместо ответа позвал Евгений милостивую женщину. — Подойди, не стесняйся.

Отец Афанасий благословил и её.

— Помирились, стало быть, — обрадовался он, как давно уже не радовался. — Надя... А сегодня как раз Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Евгений попросил его отойти в сторонку и быстро заговорил:

— Образумилось всё, самым чудесным образом разрешилось. Я получил чёткие доказательства, что никакой измены не было, Надя не виновна, и тот гад только паялился на неё, а ничего такого себе не позволил, оказывается. И что удивительно: я уж было окончательно решил его прикончить, назначил день, а накануне вдруг решил помолиться о его счастье.

— О счастье?!

— Представьте себе. Подумал: пускай у него последний в жизни вечерок будет счастливым. И через твой “Молитвослов” попросил у Бога, чтоб

Он дал ему, гадюке, счастья напоследок. Я даже тогда сначала посмеялся, а потом почему-то слезу пустил, разнюнился, жалко стало этого поросёнка. И в тот же вечер я получил неопровержимые доказательства его и Надиной невиновности! Как, что — долго рассказывать, утомлю. Но полные доказательства, это уж ты мне поверь.

— Да верю, верю! И очень рад, — так весь и светился отец Афанасий. — Слава Богу, нет у меня дара ясновидения!

— А ведь ты не зря мне про царя рассказал, как тот изобрёл лучший способ наказать французов, — смеялся Евгений, по-прежнему как-то и почему-то смущаясь. — С виду ты довольно простой, а на поверку — мудрый. Я даже стыжусь теперь тебя на “ты” называть.

— Это ничего, нормально, на “ты” даже лучше, естественнее и душевнее. Раньше все друг друга на “ты” называли, это уже потом у европейцев научились выкать. Говори мне “ты”, не стесняйся.

— Да, “Молитвослов” твой — вот он.

— Оставь его себе, может, ещё пригодится. Или другому кому передашь, когда прижмёт человека.

БАГДАДСКОЕ НЕБО

Языки разных народов различаются, в частности, ещё и тем, что в одних есть тот или иной звук, а в других он отсутствует. Так, китайцы не знают про “р” и слово “Россия” произносят как “Лоссия”. Японцы, наоборот, не произносят “л” и вместо “лыжи” скажут “рыжи”. У греков отсутствует звук “б”, на письме они заменяют его на сочетание “мп” и Бориса назовут Мпорисом. Арабам же трудно даются “в” и “п”, поэтому слова “Пасха” и “Воистину воскрес!” в их исполнении звучат несколько искажённо.

В 1995 году ныне покойный иракский диктатор Саддам Хусейн в честь своего дня рождения организовал фестиваль “Багдадское небо” и пригласил на него из России лётчиков, прославленных космонавтов, парашютистов, дельтапланеристов, воздухоплавателей, а также артистов, телевизионщиков и писателей. Всего человек двести. И я попал в писательскую составляющую российской делегации.

Всё бы прекрасно, но время для поездки оказалось не вполне удачным: в старинный город Багдад мы прилетели в Страстной четверг, и меня беспокоил вопрос о соблюдении строгого поста. Ведь когда приезжаешь в гости, иной раз можно обидеть хозяев, отказываясь от угощения, которое они выставляют от всего сердца, а оно — скоромное.

Многие жители Ирака в своё время учились в Советском Союзе, а посему известна их особая теплота к тому, чего у них нет, а у нас есть. Самолёты в Багдад ввиду международной блокады не летали, и нас долго везли из столицы Иордании Аммана в Багдад на автобусе. Приставленные к нам сопровождающие Аббас, Исмаил и Мустафа в пути не утерпели спросить у меня:

— Докторской колбаски не бривезли? Бодку не забыли захватить?

Я был предупреждён об особой любви иракцев к докторской колбаске, бородинскому хлебу и водке, а потому всего этого я вёз в достаточном количестве. И ряженку прихватил, прочитав в словаре “Имена народов мира”, что иракские студенты так полюбили в России этот напиток, что некоторые даже своих дочерей называли Ряженками.

Мне представилось, как мы приедем в Багдад, нас поселят в гостинице, и мы вынуждены будем угощать наших любезных хозяев скоромными продуктами. А между тем автобус, миновав границу Иордании с Ираком, одновременно пересёк черту полуночи, и из Страстного четверга мы благополучно въехали в Страстную пятницу, когда, как известно, вообще желательно ничего не есть. И я, будучи человеком мягким, собрал в себе всю возможную строгость и объявил довольно сурово:

— Есть и колбаска, и водочка, и даже ряженка, но всем этим я буду угощать вас только в воскресенье, когда наступит Пасха. И только тех, кто мне на мой возглас: “Христос воскрес!” — ответит: “Воистину воскрес!”

Я испугался, что они обидятся, но они ничего, с уважением отнеслись к моему религиозному порыву и даже записали себе в блокноты, что именно нужно будет отвечать на пасхальный торжествующий возглас.

В Багдад мы приехали на рассвете, нас поселили в гостинице “Аль-Мансур” и оставили в покое — дали отдохнуть до полудня. Я разместился в своём просторном номере, полюбовался с балкона на реку Тигр, несущую свои мутные жёлтые воды в Персидский залив, и улёгся спать.

Днём нас повели на обед, и к радости тех, кто постился, можно было поесть разного сорта оливок величиной с чернослив, овощей, фасоли, а также изумительного кушанья под названием “хумус”, в состав которого входят только постные компоненты. Потом была многочасовая экскурсия по Багдаду, и, помнится, меня поразило, что Саддаму Хусейну в городе стоял только один памятник, а доселе российское телевидение внушало зрителям, что здесь, как некогда Сталину, монументы вождю стоят чуть ли не на каждой площади. Аббас, Исмаил и Мустафа говорили о том, как иракцы любят своего лидера, но отнюдь не допекали этой любовью.

Меня же, как и некоторых других моих спутников, волновало, где можно будет встретить праздник Пасхи, ведь в Багдаде есть христиане, хоть и немного. Даже тогдашний вице-премьер иракского правительства Тарик Азиз был по вероисповеданию христианином. Настоящее его имя Михаил Юхання, а Тарик Азиз означает “Великое прошлое”.

Однако на мои вопросы Аббас, Исмаил и Мустафа отвечали уклончиво:

— Мы уточним... Скоро этот вопрос будет решён.

— Когда скоро?

— Букра, букра... Завтра.

Лишь потом я узнал, что если араб говорит “букра, букра” — “завтра, завтра”, это чаще всего означает “никогда”. Ну, как мы говорим: “щаз”, татары: “хазр”, а испанцы: “маньяна”.

В Багдаде существовал и по сей день существует целый христианский квартал Дора — на южной окраине города. Есть также довольно значительный по размерам кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла в самом центре, в районе Каррада. Но, судя по всему, нашим сопровождающим был дан чёткий приказ сделать всё, чтобы русские не отправились в пасхальную ночь ни в Каррада, ни в Дора. Хочется верить, что сделано это было лишь в целях нашей безопасности. Мусульманских экстремистов на Востоке всегда хватало, и вот уж у многих из начальства полетели бы головы, если б кто-то из российской делегации пострадал во время фестиваля “Багдадское небо”, приуроченного ко дню рождения Саддама Хусейна!

Всю субботу накануне Пасхи нас возили по Багдаду, показывая достопримечательности, никак не связанные с грядущей радостью Христова Воскресения. После посещения Музея Ирака и памятника Неизвестному солдату нас привезли обедать в гостиницу; я заглянул в свой номер и застал там уборщицу, заканчивавшую прибираться. Очень темнокожая, почти негритянка, она поразила меня тем, что, указав на дорожные иконы, расставленные мною на тумбочке, перекрестилась на них. Затем ткнула себя в грудь, взяла образ Спасителя и поцеловала его, тем самым показывая, что она христианка. Известное дело: на арабском Востоке христиане в основном занимаются чёрной работой — мусорщики, дворники, уборщицы...

Я достал коробку конфет и вручил её женщине. Она отвесила мне поклон и смущённо удалилась, показав рукой, что уборка закончена.

Во второй половине дня нас тоже долго возили по разным достопримечательностям, вечером был приём у нефтяного министра, на котором не подавали ничего спиртного и можно было найти огромное количество постных блюд.

Каково же оказалось моё удивление, когда ближе к полуночи нас привезли в “Аль-Мансур” и целая толпа арабов устремилась со мной в мой номер!

— Басха! — коротко объяснил Аббас.

Кроме него, Исмаила и Мустафы в гостях у меня оказались иракские писатели во главе со своим председателем Рафом Бендаром. Номер, повторяю, достался мне просторный, и, помимо иракцев, в нём ещё разместились поэт Станислав Куняев, прозаик Сергей Журавлёв и бывший министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев. Все они также принесли гостинцы из России, и в полночь я на правах хозяина номера лично разлил по стаканам разные напитки.

Все встали, я перекрестился и громко возгласил:

— Христос воскрес!

— Абаистину абаскрес! — рявкнули иракцы, заранее заучив ответ.

— Воистину воскрес! — отвечали наши.

Потом я спел тропарь, и мы снова подняли бокалы.

Я возглашал:

— Христос воскрес!

И арабы смешно, но весьма торжественно и старательно выкрикивали в ответ:

— Абаистину абаскрес!

До самого утра мы праздновали Христово Воскресение, беседовали, радовались общению в этот самый радостный день всего года. Раф Бендар хватался мне книгой стихов Садама Хусейна, подаренной ему с личной подписью автора. Другие писатели дарили свои книги. К нам на огонёк забрели знаменитые космонавты Валерий Кубасов, Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Охотно поддержали наш праздник.

Более экзотической Пасхи я не припомню в своей жизни! Потом была восхитительная Светлая седмица, на которой, собственно, и состоялся фестиваль “Багдадское небо”.

Мы испытывали гордость, когда наши парашютисты, красиво паря в пространстве, чётко приземлялись на коврик, постеленный на стадионе перед трибуной, за которой стояли руководители государства; когда наши воздухоплаватели запускали в небо над Багдадом красиво расписанные воздушные шары; когда одного из парашютистов, которого внезапный порыв ветра унёс на рынок, весёлая толпа багдадцев принесла на руках, приплясывая и припевая...

Потом нас возили по стране, мы побывали в древнем Вавилоне, на развалинах и фундаментах которого по приказу Садама Хусейна воссоздали все здания. Ездили на берег Евфрата. Встречались с различными государственными деятелями. И теперь уже можно было не постыдиться, а с полным правом вкушать все мясные и молочные блюда арабской кухни...

Через семь лет мне вновь довелось побывать в столице Ирака, в составе более скромной делегации, и визит длился всего три дня. На сей раз в Багдаде мы праздновали не Пасху, а День Победы. Тоже довольно экзотично.

Из всех, с кем я встречал Христово Воскресение в 1995 году, в эти три дня я повидался только с Мустафой. Он вновь был сопровождающим. Когда я спросил его об Исмаиле и Аббасе, он поначалу лишь с тяжким вздохом махнул рукой, и в этом взмахе угадывалась пресловутая арабская *букра* — мол, расскажу завтра, то есть потом, то есть никогда.

Но в последний день я всё же уговорил его рассказать.

— Ты только никому не говори бро них, — склонившись ко мне, тихо заговорил Мустафа. — Исмаила теберь нет. Он оказался бредатель. Его арестовали и... Как у бас гоборится, кабут!.. А Аббас... — Мустафа заговорил громче, так, что стало слышно не только мне, но и двум моим спутникам Сергею Исакову и Андрею Охоткину. — Э-э-э... Зачем ты тогда нас заставил гоборить “Абаистину абаскрес!”? Аббас бросил ислам, стал теперь Бутрос. Стал сбиященником в сирийском храме. Бутрос Юоифи. Жибиёт б Дора.

— Это христианский квартал Дора, — пояснил мне Охоткин. — А Бутрос по-арабски Пётр. Стало быть, этот Аббас принял христианство.

— Во как! — подивился я.

Ещё через семь лет, сидя в интернете, среди мелькания свежих новостей я внезапно наткнулся на сообщение, и словно взрыв раздался в одном из кварталов моего сердца:

“Священник Сирийской православной церкви убит в иракской столице. Отец Бутрос Юсифи был расстрелян из проезжающего автомобиля при выходе из собственного дома. Аббас Юсифи родился в 1958 году в мусульманской семье. В 1996 году принял христианство под именем Бутрос (Пётр). В 2001 году был рукоположен во священника и служил в одной из церквей в христианском квартале Багдада. Ему неоднократно угрожали расправой, требовали отречься от христианской религии, но все эти угрозы он игнорировал...”

Когда-то этот человек интересовался, привёз ли я докторскую колбаску и водку, и только ради этого русского угощения выучил отзыв на пасхальный возглас “Христос Воскресе!”

Но поток судьбы увлёк его куда дальше от терпеливого, размеренного и спокойного соблюдения постов и других установлений Христовой веры — унёс, бурно хлопоча, в то самое Христианство, в котором льётся кровь и трещат сокрушаемые кости мучеников. И не трещит и не сокрушается только их вера.

“Все эти угрозы он игнорировал...”

— Абаистину абаскрес! — так и слышится мне его радостный голос, белой птицей улетающий в высокое багдадское небо.